

ХОЗЯЙСТВО

Когда я писал эти страницы — вернее, большую их часть, — я жил один в лесу, на расстоянии мили от ближайшего жилья, в доме, который сам построил на берегу Уолденского пруда в Конкорде, в штате Массачусетс, и добывал пропитание исключительно трудом своих рук. Так я прожил два года и два месяца. Сейчас я снова временный житель цивилизованного мира.

Я не стал бы навязывать читателю всех этих подробностей, если бы не настойчивые расспросы моих земляков о моей тогдашней жизни, — расспросы, которые иные назвали бы неуместными, но которые мне, при данных обстоятельствах, кажутся, напротив, вполне естественными и уместными. Некоторые спрашивали меня, чем я питался, не чувствовал ли себя одиноким, не было ли мне страшно и т. п. Другим хотелось знать, какую часть своих доходов я тратил на благотворительность, а некоторые многодетные люди интересовались тем, сколько бедных детей я содержал. Поэтому я прошу прощения у тех читателей, которые не столь живо интересуются моей особой, если на часть этих вопросов мне придется ответить в моей книге. В большинстве книг принято опускать местоимение первого лица, здесь оно будет сохранено; таким образом эгоцентричны все писатели, и я только этим от них отличаюсь. Мы склонны забывать, что писатель, в сущности, всегда говорит от первого лица. Я не говорил бы так много о себе, если бы знал кого-нибудь другого так же хорошо, как знаю себя. Недостаток опыта, к сожалению, ограничивает меня этой темой. Со своей стороны, я жду от каждого писателя, плохого или хорошего, простой и искренней повести о его собственной жизни, а не только о том, что он понаслышке знает о жизни других людей: пусть он пишет так, как писал бы своим родным из дальних краев, ибо если он жил искренне, то это было в дальних от меня краях. Пожалуй, эти страницы адресованы прежде всего бедным студентам. Что касается других моих читателей, то они выберут из книги то, что к ним относится. Надеюсь, что никто, примеряя платье на себя, не распорет в нем швов, — оно может пригодиться тем, кому придется впору.

Мне хочется писать не о китайцах или жителях Сандвичевых островов, но о вас, читатели, обитающие в Новой Англии, о вашей жизни, особенно о внешней ее стороне, т. е. об условиях, в каких вы живете в нашем городе и на этом свете: каковы они, и непременно ли они должны быть так плохи, и нельзя ли их улучшить. Я много бродил по Конкорду, и повсюду — в лавках, в конторах и на полях — мне казалось, что жители на тысячу разных ладов несут тяжкое покаяние. Мне приходилось слышать о браминах, которые сидят у четырех костров и при этом еще глядят на солнце, или висят вниз головою над пламенем, или созерцают небеса через плечо, «пока шея их не искривится так, что уже не может принять нормальное положение, а горло пропускает одну лишь жидкую пищу», или на всю жизнь приковывают себя цепью к стволу дерева, или, уподобившись гусенице, меряют собственным телом протяженность огромных стран, или стоят на одной ноге на верхушке столба; но даже все эти виды добровольного мученичества едва ли более страшны, чем то, что я ежедневно наблюдаю у нас. Двенадцать подвигов Геракла кажутся пустяками в

сравнении с тяготами, которые возлагают на себя мои ближние. Тех было всего двенадцать, и каждый достигал какой-то цели, а этим людям, насколько я мог наблюдать, никогда не удается убить или захватить в плен хоть какое-нибудь чудовище или завершить хотя бы часть своих трудов. У них нет друга Иола,[1] который прижег бы шею гидры каленым железом, и стоит им срубить одну голову, как на месте ее вырастают две другие.

Я вижу моих молодых земляков, имевших несчастье унаследовать ферму, дом, амбар, скот и сельскохозяйственный инвентарь, ибо все это легче приобрести, чем сбыть с рук. Лучше бы они родились в открытом поле и были вскормлены волчицей; они бы тогда яснее видели, на какой пашне призваны трудиться. Кто сделал их рабами земли? За что осуждены они съесть шестьдесят акров, когда человек обязан за свою жизнь съесть всего пригоршню грязи?[2] Зачем им рыть себе могилы, едва успев родиться? Ведь им надо прожить целую жизнь нагруженными всем этим скарбом, а легко ли с ним передвигаться? Сколько раз встречал я бедную бессмертную душу, придавленную своим бременем: она ползла по дороге жизни, влача на себе амбар 75 футов на 40, свои Авгиевы конюшни, которые никогда не расчищаются, и 100 акров земли — пахотной и луговой, сенокосных и лесных угодий! Безземельные, которым не досталась эта наследственная обуза, едва управляют с тем, чтобы покорить и культивировать немногие кубические футы своей плоти.

Но люди заблуждаются. Лучшую часть своей души они запахивают в землю на удобрение. Судьба, называемая обычно необходимостью, вынуждает их всю жизнь копить сокровища, которые, как сказано в одной старой книге,[3] моль и ржа истребляют, и воры подкапывают и крадут[4]. Это — жизнь дураков, и они это обнаруживают в конце пути, а иной раз и раньше. Рассказывают, что Девкалион и Пирра создавали людей, кидая через плечо камни:

•
Inde genus durum sumus, experiens que laborum,
Et documenta damus qua simus origine nati[5].*

(То-то и твердый мы род, во всяком труде закаленный, И доказуем собой, каково было наше начало).

Или, в звучных стихах Рэли:[6]

*From thence our kind hard-hearted is, enduring pain and care,
Approving that our bodies of a stony nature are.*

Вот что значит слепо повиноваться бестолковому оракулу и кидать камни через плечо, не глядя, куда они упадут.

Большинство людей, даже в нашей относительно свободной стране, по ошибке или просто по невежеству так поглощены выдуманнными заботами и лишними тяжкими трудами жизни, что не могут собирать самых лучших ее плодов. Для этого их пальцы слишком загрибели и слишком дрожат от непосильного труда. У рабочего нет досуга, чтобы соблюсти в себе человека, он не может позволить себе человеческих отношений с людьми, это обесценит его на рынке труда. У него ни на что нет времени, он — машина. Когда ему вспомнить, что он — невежда (а без этого ему не вырасти), если ему так часто приходится применять свои

знания? Прежде чем судить о нем, нам следовало бы иногда бесплатно покормить, одеть и подкрепить его. Лучшие свойства нашей природы, подобные нежному пушку на плодах, можно сохранить только самым бережным обращением. А мы отнюдь не бережны ни друг к другу, ни к самим себе.

Всем известно, что некоторые из вас бедны, что жизнь для вас трудна, и вы порой едва переводите дух. Я уверен, что некоторым из вас, читатели, нечем заплатить за все съеденные обеды, за одежду и башмаки, которые так быстро изнашиваются или уже сносились, — и даже на эти страницы вы тратите украденное или взятое взаймы время и выкрадываете час у ваших заимодавцев. Совершенно очевидно, что многие из вас живут жалкой, приниженной жизнью, — у меня на это наметанный глаз. Вы вечно в крайности, вечно пытаетесь пристроиться к делу и избавиться от долгов, а они всегда были трясиной, которую римляне называли *aes alienum*, или чужая медь, потому что некоторые их монеты были из желтой меди; и вот вы живете и умираете, и вас хоронят на эту чужую медь, и всегда вы обещаете выплатить, завтра же выплатить, а сегодня умираете в долгу; и все стараетесь угодить нужным людям и привлечь клиентов — любыми способами, кроме разве подсудных, вы лжете, льстите, голосуете, угодливо свиваетесь в клубочек или стараетесь выказать щедрость во всю ширь слабых возможностей — и все ради того, чтобы убедить ваших ближних заказывать у вас обувь, или шляпы, или сюртуки, или экипажи, или бакалейные товары; вы наживаете себе болезни, пытаетесь кое-что отложить на случай болезни, кое-что запрятать в старый комод или в чулок, засунутый в какую-нибудь щель, или для лучшей сохранности, в кирпичный банк — хоть куда-нибудь, хоть сколько-нибудь.

Я иной раз удивляюсь, что мы легкомысленно уделяем все внимание тяжелой, но несколько чуждой нам форме кабалы, называемой рабовладением, когда и на юге, и на севере существует столько жестоких и тонких видов рабства. Тяжко работать на южного надсмотрщика, еще тяжелее — на северного, но тяжелее всего, когда вы сами себе надсмотрщик. А еще говорят о божественном начале в человеке! Посмотрите на возчика на дороге: днем ли, ночью ли — он держит путь на рынок. Что в нем осталось божественного? Накормить и напоить лошадей — вот его высшее понятие о долге. Что ему судьба в сравнении с перевозкой грузов? Ведь она работает на сквайра Ну-ка Поживей. Что уж тут божественного и бессмертного? Взгляните, как он дрожит и ежится, как вечно чего-то боится, — он не бессмертен и не божествен, он раб и пленник собственного мнения о себе, которое он составил на основании своих дел. Общественное мнение далеко не такой тиран, как наше собственное. Судьба человека определяется тем, что он сам о себе думает. Найдется ли другой Уилберфорс,[7] чтобы освободить от оков Вест-Индию мысли и воображения? А наши дамы, те готовят к страшному суду нескончаемые вышитые подушечки, чтобы не выказать слишком живого интереса к своей судьбе! Словно можно убивать время без ущерба для вечности!

Большинство людей ведет безнадежное существование. То, что зовется смирением, на самом деле есть убежденное отчаяние. Из города, полного отчаяния, вы попадаете в полную отчаяния деревню и в утешение можете созерцать разве лишь храбрость норок и мускусных крыс. Даже то, что зовется играми и развлечениями, скрывает в себе устойчивое, хотя и неосознанное отчаяние. Это не игры, ибо те хороши лишь после настоящей работы. Между тем мудрости не свойственно совершать отчаянные поступки.

Когда мы размышляем над тем, что катехизис[8] называет истинным назначением человека, и над его действительными потребностями, может показаться, что люди сознательно избрали свой нынешний образ жизни потому, что предпочли его всем другим. А ведь они искренне считают, будто у них нет выбора. Но бодрые и здоровые натуры помнят, что солнце взошло на ясном небе. Никогда не поздно отказаться от предрассудков. Нельзя принимать на веру, без доказательств, никакой образ мыслей или действий, как бы древен он ни был. То, что сегодня повторяет каждый, или с чем он молча соглашается, завтра может оказаться ложью, дымом мнений, по ошибке принятым за благодатную тучу, несущую на поля плодоносный дождь. Многие из того, что старики считают невозможным, вы пробуете сделать — и оно оказывается возможным. Старому поколению — старые дела, а новому — новые. Было время, когда люди не знали, как добыть топливо для поддержания огня, а теперь они кладут под котел немного сухих дров и мчатся вокруг земного шара с быстротой птиц, которая для стариков — смерть. Старость годится в наставники не больше, если не меньше, чем юность, — она не столькому научилась, сколько утратила. Я не уверен, что даже мудрейший из людей, прожив жизнь, постиг что-либо, обладающее абсолютной истинностью. В сущности, старики не могут дать молодым подлинно ценных советов; для этого их опыт был слишком ограничен, а жизнь сложилась слишком неудачно; но это они объясняют личными причинами; к тому же, наперекор их опыту, у них могли сохраниться остатки веры, и они просто менее молоды, чем были. Я прожил на нашей планете 30 лет и еще не слышал от старших ни одного ценного или даже серьезного совета. Они не сказали мне — и вероятно не могут сказать — ничего, что мне годилось бы. Передо мной жизнь — опыт, почти неиспробованный мной, но мне мало проку от того, что они его проделали. Если у меня есть какой-то собственный, ценный для меня опыт, я знаю наверняка, что мои наставники об этом не говорили.

Один фермер говорит мне: «Нельзя питаться одной растительной пищей, из чего тогда образоваться костям?», — и вот он посвящает часть своего дня тому, что благоговейно снабжает свой организм сырьем для построения костей; а сам, между тем, шагает за плугом, за своими быками, которые хоть и вскормлены растительной пищей, а тащат через все препятствия и его, и его тяжелый плуг. Есть вещи, которые составляют предмет первой необходимости только в некоторых кругах, самых беспомощных и испорченных, в других они являются лишь предметами роскоши, а третьим и вовсе неизвестны.

Кажется, что все наши пути, и по горам, и по долам, уже исхожены нашими предшественниками, и что все ими предусмотрено. У Эвелина[9] сказано, что «мудрый Соломон определил даже расстояния, какие надо соблюдать при древесных посадках, а римские преторы постановили, как часто можно собирать желуди на земле соседа, не нарушая его прав, и какая доля их принадлежит этому соседу». Гиппократ оставил даже наставления насчет подстригания ногтей; вровень с кончиками пальцев — не короче и не длиннее. Нет сомнения, что и самая скука и сплин, которые якобы исчерпали разнообразие и радости жизни, восходят еще ко временам Адама. Но способности человека до сих пор никем не измерены, и мы не можем судить о его возможностях по тому, что им до сих пор сделано, — ведь испробовано так мало. Каковы бы ни были до сего дня твои неудачи, «не печалься, дитя мое, ибо кто же припишет тебе работу, которая осталась у тебя несделанной»[10].

К нашей жизни можно применить множество простых способов проверки, хотя бы, например, такую: то же самое солнце, под которым зреют мои бобы, освещает целую систему планет, подобных нашей. Если бы я это помнил, я избежал бы некоторых ошибок. А я окапывал бобы совсем не с этой точки зрения. Звезды являются вершинами неких волшебных треугольников. Какие далекие и непохожие друг на друга существа, живущие в разных обителях вселенной, одновременно созерцают одну и ту же звезду! Природа и человеческая жизнь столь же разнообразны, как и сами наши организмы. Кто может сказать, какие возможности таит жизнь для другого человека? Возможно ли большее чудо, чем хотя бы на миг взглянуть на мир глазами другого? Мы тогда за один час побывали бы во всех веках мира и во всех мирах веков. История, поэзия, мифология! — никакие описания чужих переживаний не могли бы так нас поразить и столькому научить.

Большую часть того, что мои ближние называют хорошим, я в глубине души считаю дурным, и если я в чем-нибудь раскаиваюсь, так это в своем благонаравии и послушании. Какой бес в меня вселился, что я был так благонаравен? Можешь выкладывать мне всю свою мудрость, старик, — ты прожил на свете семьдесят лет и прожил их не без чести, — но я слышу настойчивый голос, зовущий меня уйти подальше от всего этого. Молодое поколение бросает начинания старого, точно суда, выкинутые морем на берег.

Я считаю, что мы могли бы гораздо больше доверять жизни, чем мы это делаем. Мы могли бы сократить заботы о себе хотя бы на столько, сколько мы их уделяем другим. Природа приспособлена к нашей слабости не менее, чем к нашей силе. Непрестанная тревога и напряжение, в котором живут иные люди, — это род неизлечимой болезни. Нам внушают преувеличенное понятие о важности нашей работы, а между тем, как много мы оставляем несделанным! А что, если бы мы захворали? Мы вечно настороже! Мы полны решимости не жить верой, если этого можно избежать; прожив весь день в тревоге, мы на ночь нехотя читаем молитвы и вверяем себя неизвестности. Уж очень «основательно» приходится нам жить; мы чтим наш образ жизни и отрицаем возможность перемен. Иначе нельзя, говорим мы, а между тем способов жить существует столько же, сколько можно провести радиусов из одного центра. Всякая перемена представляется чудом, но подобные чудеса совершаются ежеминутно. Конфуций говорит: «Истинное знание состоит в том, чтобы знать, что мы знаем то, что знаем, и не знаем того, чего не знаем»[11]. Когда хоть одному человеку удастся постичь разумом то, что сейчас представляется только нашему воображению, я предсказываю, что и все люди станут строить на этом свою жизнь.

Давайте подумаем, в чем суть большей части забот и тревог, о которых я говорил, и насколько необходимо нам тревожиться или хотя бы заботиться. Неплохо было бы среди внешнего окружения цивилизации пожить простой жизнью, какой живут на необжитых землях, хотя бы для того, чтобы узнать, каковы первичные жизненные потребности и как люди их удовлетворяют, или перелистать старые торговые книги, чтобы увидеть, что люди покупали прежде всего, чем они запасались, то есть каковы продукты, без которых не проживешь. Ибо столетия прогресса внесли очень мало нового в основные законы человеческого существования; точно так же и скелет наш, вероятно, не отличается от скелетов наших предков.

Под *жизненными потребностями* я понимаю то из добываемого человеком, что всегда было или давно стало столь важным для жизни, что почти никто не пытается без этого обойтись, будь то по невежеству, или по бедности, или из философского принципа. В этом смысле для многих живых существ имеется лишь одна потребность — в Пище. Для бизона прерий это несколько дюймов вкусной травы и водопой, да еще, может быть, укрытие в лесу или в тени горы. Животные нуждаются только в пище и убежище. Для человека в нашем климате первичные потребности включают Пищу, Кров, Одежду и Топливо; пока это нам не обеспечено, мы неспособны свободно и успешно решать подлинные жизненные проблемы. Человек изобрел не только домá, но и одежду, и приготовление пищи; вероятно из случайно обнаруженного тепла от костра, вначале — роскоши, возникла нынешняя потребность греться у огня. Мы видим, что собаки и кошки тоже приобрели эту привычку — вторую натуру. С помощью Крова и Одежды мы лишь законно сохраняем наше собственное внутреннее тепло; когда появляется избыток этого тепла, или Топлива, то есть, когда создается наружное тепло, превышающее наше внутреннее, начинается приготовление пищи на огне. Натуралист Дарвин,[12] рассказывая о жителях Огненной Земли, говорит, что он и его спутники, сидя у самого костра в теплой одежде, вовсе не ощущали чрезмерного тепла и удивлялись тому, что обнаженные туземцы, сидевшие дальше, «обливались потом, точно их поджаривали». Говорят, что житель Новой Голландии[13] безнаказанно ходит обнаженным, когда европеец даже одетый дрожит от холода. Нельзя ли сочетать закаленность этих дикарей с интеллектуальностью цивилизованного человека? Согласно Либиху[14] человеческое тело представляет собой печь, а пища является тем топливом, которое поддерживает внутреннее горение в легких. В холодную погоду мы едим больше, в теплую — меньше. Животное тепло получается в результате медленного сгорания; а болезнь и смерть наступают, когда это горение чрезмерно ускоряется, или когда, наоборот, от недостатка топлива или какого-нибудь дефекта в тяге, огонь гаснет. Конечно, жизненное тепло нельзя отождествлять с огнем, но в какой-то степени эта аналогия годится. Из сказанного следует, что слова *животная жизнь* почти совпадают с *животным теплом*. Если рассматривать пищу как топливо, поддерживающее огонь внутри нас, — а Топливо служит лишь для приготовления Пищи или для усиления внутреннего тепла путем добавления наружного, — Кров и Одежда также нужны лишь для сохранения создаваемого и поглощаемого таким образом *тепла*.

Итак, первой потребностью нашего организма является потребность согреться, сохранить жизненное тепло. Вот почему мы так хлопочем не только о Пище, Одежде и Крове, но и о постелях — нашей ночной одежде — и ради этого внутреннего крова разоряем гнезда птиц и ощипываем пух с их груди, подобно кроту, который в глубине своей норы устраивает себе постель из травы и листьев. Бедняк часто жалуется, что ему холодно в этом мире; холоду, как физическому, так и социальному, мы приписываем большую часть наших недугов. В некоторых широтах для человека летом возможна райская жизнь. Топливо требуется ему лишь для приготовления Пищи, костром служит солнце, многие из плодов достаточно прожариваются в его лучах; и вообще пища там разнообразнее и доступнее, а Одежда и Кров почти совершенно не нужны. В наше время и в нашей стране, как я знаю по собственному опыту, почти столь же необходимы некоторые орудия — нож, топор, лопата, тачка, а для занятий науками — лампа, бумага и несколько книг; все это стоит недорого. А ведь находятся безумцы, которые отправляются на край земли, в дикие местности с нездоровым климатом, и торгуют там 10 и 20 лет ради того, чтобы потом доживать свой век

— то есть сохранять в себе тепло — в Новой Англии. Кто живет в роскоши, тот не только поддерживает в себе тепло, но и парится в чрезмерной жаре. Как я уже говорил, его поджаривают, разумеется *à la mode* (по моде — франц.).

Большая часть роскоши и многое из так называемого комфорта не только не нужны, но положительно мешают прогрессу человечества. Что касается роскоши и комфорта, то мудрецы всегда жили проще и скуднее, чем бедняки. Никто не был так беден земными благами и так богат духовно, как древние философы Китая, Индии, Персии и Греции. Мы немного о них знаем. Но удивительно, что *мы* вообще о них знаем. То же можно сказать и о реформаторах и благодетелях человечества, живших в более поздние времена. Нельзя быть беспристрастным и мудрым наблюдателем человеческой жизни иначе, как с позиций, которые мы назвали бы добровольной бедностью. Живя в роскоши, ничего не создашь, кроме предметов роскоши, будь то в сельском хозяйстве, торговле, литературе или искусстве. У нас сейчас есть профессора философии, но философов нет. Но и учить хорошо, потому, что некогда учили на собственном примере. Быть философом — значит не только тонко мыслить или даже основать школу; для этого надо так любить мудрость, чтобы жить по ее велениям — в простоте, независимости, великодушии и вере. Это значит решать некоторые жизненные проблемы не только теоретически, но и практически. Обычно же успех знаменитых ученых и мыслителей подобен успеху царедворца, а не властелина или героя. Они живут по-старинке, как жили их отцы, и не становятся родоначальниками более благородной человеческой породы. Почему же вообще вырождаются люди? Отчего вымирают семьи? Какие именно излишества расслабляют и губят народы? Нет ли их и в нашей собственной жизни? Истинный философ даже во внешнем образе жизни идет впереди своего века. Он по-иному, не так, как его современники, питается, укрывается, одевается и согревается. Можно ли быть философом и не поддерживать свое жизненное тепло более мудрыми способами, чем прочие люди?

Когда человек согрелся одним из описанных мною способов, какие еще потребности у него остаются? Едва ли это будет добавочное тепло того же рода — более обильная и жирная пища, больший и более роскошный дом, более разнообразная и красивая одежда, непрестанный и более жаркий огонь в очаге или нескольких очагах и тому подобное. Добыв все необходимое для жизни, он может поставить себе лучшую цель, чем получение излишков; освободившись от черной работы, он может, наконец, отважиться жить. Раз почва оказалась подходящей для семени, и оно пустило корешки вниз, оно может безбоязненно выпускать свои ростки вверх. Для чего же человек так прочно укоренился на земле, как не для того, чтоб настолько же подняться вверх, к небесам? Ведь наиболее благородные растения ценятся за их плоды, созревающие в воздухе и на свету, высоко над землей, не то, что овощи, хоть бы и двухлетние, которые выращиваются только ради корней и для этого часто обрезаются сверху, так что многие не узнали бы их в пору их цветения.

Я не собираюсь диктовать правила сильным и мужественным натурам, которые сами знают свое дело, будь то в небесах или в аду, и строят более роскошно и тратят щедрее всех богачей, но никогда не становятся от этого беднее и не считают, на что живут, — если только действительно есть такие люди, как об этом мечталось; не намерен я поучать и тех, кто восхищается и вдохновляется именно нынешним порядком вещей и лелеет его с нежностью и пылкостью влюбленных, — до некоторой степени я и себя самого отношу к их

числу; я не обращаюсь к тем, кто убежден, что живет правильно, кто бы они ни были, — им лучше знать, так ли это; я обращаюсь главным образом к массе недовольных, напрасно сетующих на жестокую участь или на времена, вместо того, чтобы улучшить их. Есть такие, что горюют всего сильнее и безутешнее, потому что, по их словам, они исполняют свой долг. Я также имею в виду тот, по видимости богатый, а на деле удручающе нищий класс, который накопил груды мусора, но не знает, как им пользоваться, или как от него освободиться, и сам себе сковал золотые и серебряные цепи.

Если бы я попытался рассказать, как мне хотелось провести свою жизнь, это, вероятно, удивило бы тех из моих читателей, которые сколько-нибудь знакомы с моей действительной историей, и уж наверняка поразило бы тех, кто о ней ничего не знает. Я упомяну лишь некоторые из планов, которые я строил.

В любую погоду, в любой час дня или ночи я стремился наилучшим образом использовать именно данный момент и отметить его особой зарубкой; я хотел оказаться на черте, где встречаются две вечности: прошедшее и будущее, — а это ведь и есть настоящее, — и этой черты придерживаться. Вы должны простить мне некоторые неясности, потому что в моем ремесле больше тайн, чем в большинстве других, и не то, чтобы я нарочно стремился их иметь, — просто они неотделимы от самой его природы. Я рад бы рассказать все, что я о нем знаю, и никогда не писать на своей калитке: «Вход воспрещен».

Когда-то давно у меня пропал охотничий пес, гнедой конь и голубка,[15] и я до сих пор их разыскиваю. Многих путников я расспрашивал о них, говорил, где они могли им встретиться и на какие клички отзывались. Мне попались один или два человека, которые слышали лай пса и топот коня и даже видели, как взлетала за облака голубка, и им так же хотелось найти их, словно они сами их потеряли.

Как хорошо опережать не только солнечный восход или рассвет, но, если возможно, и самое Природу! Сколько раз, летом и зимою, я начинал свой трудовой день раньше кого-либо из соседей. Многие мои сограждане наверняка встречали меня уже на обратном пути — фермеры, ехавшие на рассвете в Бостон, или дровосеки, выходявшие на работу. Правда, я ни разу не пособил солнечному восходу, но будьте уверены, что даже присутствовать при нем было крайне важно.

Сколько осенних и даже зимних дней я провел за городом, пытаюсь подслушать, что скажет ветер — подслушать и поскорее разнести его вести. Я вкладывал в это почти весь свой капитал, да к тому же еще и задыхался, пытаюсь бежать против ветра. Если бы дело касалось одной из политических партий, можете быть уверены — об этом напечатали бы в «Газете», в самом раннем выпуске. Иногда я наблюдал с какого-нибудь утеса или дерева, чтобы знаками известить о любом новом пришельце, а по вечерам поджидал на вершине холма, не начнет ли валиться небо и не свалится ли что-нибудь на мою долю — хотя мне мало что доставалось, да и это таяло на солнце, как манна небесная.

Я долгое время работал репортером в журнале [16], у которого было не очень много подписчиков; его редактор до сих пор не нашел нужным напечатать большую часть моих корреспонденции, и я, как очень многие писатели, ничего не получал за свой труд. Но в

данном случае труды сами заключали в себе награду.

Много лет я добровольно состоял смотрителем ливней и снежных бурь и выполнял свою работу добросовестно; был инспектором, если не проезжих дорог, то лесных троп, содержал их в порядке, чинил мостики через овраги и следил, чтобы они круглый год были проходимы всюду, где след человека указывал, что в них есть нужда.

Я присматривал за дикими животными нашей округи — а они так любят прыгать через изгороди, что доставляют заботливому пастуху немало хлопот; заглядывал я и в дальние уголки фермерских усадеб, хоть и не всегда знал, на каком поле сегодня работает Джонас или Соломон — это меня не касалось. Я поливал бруснику, карликовую вишню, каменное дерево, красную сосну и черный вяз, белый виноград и желтые фиалки, — а то они, пожалуй, погибли бы в засуху.

Скажу, не хвалясь, что я долго трудился таким образом, и трудился усердно, пока не стало совершенно очевидно, что сограждане не намерены зачислить меня в штат городских чиновников и назначить мне скромное вознаграждение. Счета, которые я честно вел, никогда не проверялись и уж, конечно, не акцептировались и не оплачивались. Впрочем, я к этому не стремился.

Недавно бродячий индеец принес на продажу корзины в дом известного адвоката,[17] живущего неподалеку от меня. «Нужны вам корзины?» — спросил он. «Нет, не нужны», — был ответ. «Вот тебе раз! — воскликнул индеец, выходя из ворот, — вы, значит, хотите нас уморить голодом?» Увидя, как процветают его предприимчивые белые соседи, как адвокату достаточно наплести речей и доводов, чтобы, словно по волшебству, добыть и деньги, и почет, индеец сказал себе: надо и мне заняться делом; буду плести корзины, это я умею. Он решил, что от него требуется только сплести корзину, а покупать — это уж обязанность белого. Он не знал, что необходимо сделать покупку выгодной для белого или хотя бы уверить его в этом, или же плести что-либо другое, что выгодно покупать. Я тоже плел своего рода тонкие корзины, но не сумел устроить так, чтобы хоть кому-нибудь было выгодно их купить. Но я-то все равно считал, что плести их стоит, и вместо того, чтобы выяснять, как сделать приобретение моих корзин выгодным для людей, я стал искать способов обойтись без их продажи. Люди привыкли признавать и восхвалять лишь один вид жизненного успеха. Но зачем превозносить именно его, в ущерб всем другим?

Обнаружив, что сограждане не намерены предложить мне судейское кресло, или приход, или еще какую-нибудь должность и что мне надо самому искать средства к жизни, я еще решительнее устремился в леса, где меня знали лучше. Я захотел немедленно войти в дело, не накапливая требуемого в таких случаях капитала и обходясь имевшимися у меня скудными средствами. Я отправился на берега Уолдена не за тем, чтобы прожить подешевле или подороже, но чтобы без помех заняться своими делами;[18] уж очень глупо было бы отказаться от них из-за недостатка здравого смысла, малой доли предприимчивости и деловых способностей.

Я всегда старался приобрести навыки делового человека; они необходимы каждому. Если вы торгуете с Небесной Империей,[19] тогда достаточно конторы на побережье, в какой-нибудь

гавани Салема[20]. Вы будете вывозить чисто отечественные продукты: больше всего льда и сосновой древесины, немного гранита, и все это на отечественных судах. Это выгодное дело. Тут надо самому во все входить, быть и штурманом, и капитаном, и владельцем, и страховщиком; самому покупать, продавать и вести счета, получать всю почту и самому на все отвечать; самому во всякое время наблюдать за разгрузкой ввозимых товаров; поспевать почти сразу в несколько точек побережья — ибо самый ценный груз часто могут выгрузить на побережье Джерси;[21] быть самому себе телеграфом, неустанно обозревать горизонт, окликаая все суда, направляющиеся к берегу; иметь постоянно наготове товар для снабжения столь далекого и обширного рынка; быть осведомленным о состоянии всех рынков, о перспективах войны и мира, предвидеть перемены в промышленности и цивилизации, использовать результаты всех экспедиций, все новые пути и возможности для навигации; изучать карты, выяснять, где рифы, а где новые маяки, и буи; постоянно выверять логарифмические таблицы, ибо из-за ошибки в вычислениях многие суда, шедшие в гостеприимную гавань, разбивались о скалы — вспомним загадочную судьбу Лаперуза;[22] следить за успехами науки во всем мире, изучать жизнь всех знаменитых открывателей и мореходов, искателей приключений и торговцев, от Ганнона[23] и финикийцев до наших дней, и, наконец, производить время от времени учет товаров, чтобы знать, в каком положении ваши дела. Подобный труд заставляет человека напрягать все свои способности; все эти вопросы прибылей, убытков и процентов, учет веса тары и все прочие измерения и расценки требуют универсальных познаний.

Я решил, что Уолденский пруд будет отличным местом для ведения дела, — не только из-за железной дороги и добычи льда; есть и еще преимущества, которые мне, быть может, нет расчета раскрывать: выгодное и удобное местоположение. Здесь нет, как на невских берегах, болот, которые надо засыпать, хотя всюду надо строить на сваях и вбивать их самому. Говорят, что наводнение и западный ветер во время ледохода на Неве могут смести Петербург с лица земли.

Поскольку я начинал дело без обычных капиталовложений, читателю будет нелегко догадаться, откуда взялись те средства, которые все же необходимы для подобного предприятия. Что касается одежды, — если сразу перейти к практическим вопросам, — то здесь нами чаще руководит любовь к новизне и оглядка на других людей, чем соображения действительной пользы. Пусть каждый, кому приходится работать, помнит, что назначение одежды состоит, во-первых, в том, чтобы сохранять жизненное тепло, а, во-вторых, при нынешних нравах, в том, чтобы прикрывать наготу; тогда он увидит, сколько нужной и важной работы он может совершить, ничего не прибавляя к своему гардеробу. Королям и королевам, которые только по одному разу надевают каждый свой туалет, хотя бы и сделанный придворным портным или портнихой, неведомо удовольствие носить ладно сидящую одежду. Они не более чем деревянные плечики, на которые вешается новое платье. Наша одежда с каждым днем все более к нам применяется; она получает отпечаток нрава своего владельца, и мы неохотно расстаемся с ней, почти как с нашим собственным телом, и так же оттягиваем этот срок с помощью починок и иного медицинского вмешательства. Ни один человек никогда не терял в моих глазах из-за заплат на одежде; а между тем люди больше хлопчут о модном, или хотя бы чистом и незаплатанном платье, чем о чистой совести. А ведь даже незаплатанная прореха не обличает в человеке никаких пороков, кроме разве непрактичности. Я иногда испытываю своих знакомых такими

вопросами: согласились ли бы они на заплату или просто пару лишних швов на колене? Большинство, по-видимому, считает, что это значило бы загубить свою будущность. Им легче было бы ковылять в город со сломанной ногой, чем с разорванной штаниной. Когда у джентльмена что-нибудь приключается с ногами, их еще можно починить, но если нечто подобное случается с его брюками, это уже непоправимо, ибо он считается не с тем, что действительно достойно уважения, а с тем, что уважают люди. Нам редко встречается человек — большей частью одни сюртуки и брюки. Обрядите пугало в ваше платье, а сами встаньте рядом с ним нагишом, — и люди скорее поздороваются с пугалом, чем с вами. Недавно, проходя мимо кукурузного поля, я увидел шляпу и сюртук, нацепленные на палку, и сразу узнал хозяина фермы. Непогода несколько потрепала его с тех пор, как мы виделись в последний раз. Я слышал о собаке, которая лаяла на каждого чужого человека, приближавшегося к дому ее хозяина в одежде, но очень спокойно встретила голого вора. Интересно, насколько люди сохранили бы свое общественное положение, если бы снять с них одежду. Сумели бы вы в этом случае выбрать из группы цивилизованных людей тех, кто принадлежит к высшим классам? Когда мадам Пфейфер,[24] смелая путешественница вокруг света, с востока на запад, добралась до Азиатской России, она почувствовала надобность переодеться ради встречи с местными властями, потому что, как она пишет, «оказалась в цивилизованной стране, где о человеке судят по платью». Даже в городах нашей демократической Новой Англии случайно приобретенное богатство и его внешние атрибуты — наряды и экипажи — обеспечивают их владельцу почти всеобщее уважение. Но те, кто воздает богачу такое уважение, как они ни многочисленны, по сути дела — дикари, и к ним надо бы послать миссионера. К тому же, одежда породила шитье — занятие поистине нескончаемое. Во всяком случае, женским нарядам никогда не бывает конца.

Когда человек нашел себе дело, ему не требуется для этого новый костюм. Для него сойдет и старый, невесть сколько времени пролежавший на чердаке. Старые башмаки дольше прослужат герою, чем его лакею, если только у героев бывают лакеи, а еще древнее башмаков — босые ступни, и можно обойтись даже ими. Только тем, кто ходит на балы и в законодательные собрания, требуется менять костюм так же часто, как меняется носящий их человек. Если мой сюртук и брюки, шляпа и башмаки еще годны, чтобы молиться в них богу, — значит, их еще можно носить, не правда ли? А кто из нас донашивает свое платье действительно до конца, пока оно не распадется на первичные элементы, вместо того, чтобы в виде благотворительности оделять им какого-нибудь бедного парня, который, возможно, в свою очередь, отдает его кому-нибудь еще беднее, — или, может быть, следовало бы сказать: богаче, раз он обходится меньшим? Я советую вам остерегаться всех дел, требующих нового платья, а не нового человека. Если сам человек не обновился, как может новое платье прийти ему впору? Если вам предстоит какое-то дело, попытайтесь совершить его в старой одежде. Надо думать не о том, *что нам еще требуется*, а о том, чтобы что-то *сделать*, или, вернее, чем-то *быть*. Быть может, нам не следовало бы обзаводиться новым платьем, как бы ни обтрепалось и ни загрязнилось старое, пока мы не свершим чего-нибудь такого, что почувствуем себя новыми людьми, — и тогда остаться в старой одежде будет все равно, что хранить новое вино в старом сосуде. Наша линька, как у птиц, должна отмечать важные переломы в нашей жизни. Гагара в эту пору улетает на пустынные пруды. Змея тоже сбрасывает кожу, а гусеница — оболочку в результате внутреннего процесса роста, ибо одежда — это лишь наш наружный кожный покров, покров земного чувства[25]. Иначе окажется, что мы плаваем под чужим флагом и в конце концов

неизбежно падем и в собственном мнении и в мнении людей.

Мы сменяем платье за платьем, наподобие экзогенных растений, растущих путем наружных добавлений. Наше верхнее, чаще всего нарядное платье, — это эпидерма, или ложная кожа, не связанная с нашей жизнью; ее можно местами содрать, не причинив особого вреда; наша плотная одежда, которую мы носим постоянно, — это наша клетчатка, или cortex, а рубашка — это наша liber, или склеренхима, которую нельзя снять, чтобы не окольцевать человека, т. е. не погубить его. Думаю, что все народы, хотя бы в известное время года, носят нечто подобное рубашке. Человеку следует быть одетым так просто, чтобы он мог найти себя в темноте; и жить так просто, чтобы быть готовым, если неприятель возьмет его город, уйти оттуда, подобно древнему философу,[26] с пустыми руками и спокойной душой. Одна плотная одежда в большинстве случаев лучше трех тонких, а дешевая одежда действительно доступна большинству. Теплое пальто стоит пять долларов и прослужит столько же лет; за два доллара можно купить грубошерстные брюки, за полтора — сапоги из коровьей кожи, за четверть доллара — летнюю шапку, за шестьдесят два с половиной цента — зимнюю, а еще лучше сделать ее самому, и это обойдется почти даром. Неужели бедняк, одевшись таким образом на деньги, *добытые своим трудом*, не найдет умных людей, которые воздадут ему должное уважение?

Когда я пытаюсь заказать себе одежду определенного фасона, портниха важно говорит мне: «Таких сейчас никто не носит», не уточняя, кто не носит, и словно повторяя слова авторитета, безличного как Рок. Мне трудно заказать себе то, что мне надо, потому что она просто не верит, что я говорю всерьез и действительно могу быть так неблагоразумен. Услышав ее торжественную фразу, я погружаюсь в раздумье, повторяя про себя каждое слово в отдельности, пытаюсь добраться до сущности и уяснить себе, кем мне приходится эти *Никто* и почему они так авторитетны в вопросе, столь близко меня касающемся. И мне хочется ответить ей так же торжественно и таинственно, не уточняя, кто такие «никто»: «Да, действительно, до недавних пор никто не носил, но сейчас начали». К чему ей, спрашивается, обмерять меня, если она измеряет не мой характер, а только ширину плеч, точно я — вешалка? Мы поклоняемся не Грациям и не Паркам, а Моде. Это она со всей авторитетностью прядет, ткет и кроит для нас. Главная парижская обезьяна нацепляет дорожную каскетку, и вслед за ней все американские обезьяны проделывают то же самое. Я иной раз отчаиваюсь хоть в чем-нибудь добиться от людей простоты и честности. Для этого людей сперва пришлось бы положить под мощный пресс, чтобы выжать из них старые понятия, да так, чтобы они не скоро опомнились и встали на ноги; а там, смотришь, среди них опять оказался бы кто-нибудь с червоточиной, а откуда взялся червь, из какого он вывелся яичка — неизвестно, ибо эти вещи не выжечь даже огнем, и все труды окажутся напрасными. Не будем, впрочем, забывать, что египетская пшеница была сохранена для нас мумией.

В общем, едва ли кто станет утверждать, что у нас или в другой стране искусство одеваться действительно поднялось до уровня искусства. Пока еще люди носят что придется. Подобно морякам, потерпевшим крушение, они надевают то, что находят на берегу, а несколько отдалившись в пространстве или во времени, смеются друг над другом. Каждое поколение смеется над модами предыдущего, но благоговейно следует новым. Костюм Генриха VIII или королевы Елизаветы мы находим таким же смешным, как если бы они были монархами

Каннибальских островов. Всякий костюм отдельно от человека выглядит жалким или нелепым. Только серьезный взор, выглядывающий из одежды, и искреннее сердце, которое под ней бьется, только это сдерживает смех и освящает любую одежду. Если у Арлекина случится приступ колик, его наряду придется разделить с ним все его неприятности. Когда солдат сражен ядром, его лохмотья приобретают величие царского пурпура.

Детское и дикарское пристрастие мужчин и женщин к новым фасонам заставляет многих, сощурясь, вертеть калейдоскоп, выбирая сочетание, на которое сегодня будет спрос. Фабриканты знают, что этот вкус — одна лишь причуда. Из двух рисунков ткани, различающихся лишь несколькими нитями того или иного цвета, один расходуется быстро, другой залеживается на полках, а на следующий сезон именно второй часто оказывается более модным. Татуировка в сравнении с этим не столь отвратительна, как принято считать. Ее не назовешь варварством только потому что рисунок врезан в кожу и не может быть изменен.

Я не могу поверить, что наша фабричная система является лучшим способом одевать людей. Положение рабочих с каждым днем становится все более похожим на то, что мы видим в Англии, и удивляться тут нечему — ведь, насколько я слышу и вижу главная цель этой системы не в том, чтобы дать людям прочную и пристойную одежду, а только в том, чтобы обогатить фабрикантов. Люди в конце концов добиваются только того, что ставят своей целью. Поэтому, хотя бы их и ждала на первых порах неудача, им лучше целить выше.

Что касается Крова, я не отрицаю, что в наше время он стал жизненной потребностью, хотя можно привести примеры, когда люди подолгу обходились без него, даже в более холодных краях, чем наш. Сэмюэл Лэнг[27] пишет, что «лапландец в одежде из шкур, натянув меховой мешок на голову и плечи, может много ночей проспать на снегу, при морозе, от которого погиб бы человек в любой шерстяной одежде». Он сам видел как они спали. При этом он добавляет «Они не крепче других людей». Но человек, очевидно, очень давно обнаружил все удобства крова и создал понятие «домашнего уюта» которое вначале относилось, вероятно, именно больше к дому, чем к семье, хотя оно едва ли могло иметь большое значение в тех широтах, где кров нужен только зимой или в период дождей, а в течение двух третей года не требуется ничего, кроме зонтика. Даже в нашем климате в летнее время дом был некогда нужен лишь в качестве ночного укрытия. В индейской письменности вигвам обозначал дневной переход, и ряд этих вигвамов, вырезанных или нарисованных на древесной коре, показывал, сколько раз люди останавливались на ночлег. Человек не сотворен таким уж могучим, чтобы ему не требовалось сузить окружающий его мир и отгородить себе какое-то укрытие. Сперва он жил обнаженный, под открытым небом, но если это было достаточно приятно в ясную, теплую погоду и в дневное время, то дождливый сезон или зима, не говоря уже о жгучем тропическом солнце, погубили бы человеческий род в самом начале, если бы он не поспешил укрыться под кровом. Адам и Ева, согласно преданию, обзавелись лиственным кровом раньше, чем одеждой. Человеку был нужен дом и тепло — сперва тепло физическое, потом тепло привязанностей.

Мы можем представить себе, как однажды, в период детства человечества, некий предприимчивый смертный нашел убежище в расселине скалы. Каждый ребенок заново открывает мир, вот почему он любит бывать вне дома, даже в дождь и холод. Он играет в

домик, как и в лошадки, потому что это инстинкт. Кто не помнит, с каким интересом мы рассматривали в детстве нависшую скалу и все, что напоминало пещеру? Это проявлялся еще живущий в нас инстинкт наших далеких первобытных предков. От пещеры мы перешли к кровлям из пальмовых листьев, из коры и ветвей, из натянутого холста, из травы и соломы, досок и щепы, камней и черепицы. Теперь мы не знаем, что значит жить под открытым небом, и жизнь наша стала домашней больше, чем мы думаем. От домашнего очага до поля — большое расстояние. Нам, пожалуй, следовало бы проводить побольше дней и ночей так, чтобы ничто не заслоняло от нас звезды, и поэту не всегда слагать свои поэмы под крышей, и святому не укрываться под ней постоянно. Птицы не поют в пещерах, а голубики не укрывают свою невинность в голубятнях.

Но уж если вы хотите построить себе дом, не мешает приложить к этому немного американского здравого смысла, а не то вы окажетесь в работном доме, в лабиринте без выхода, в музее, богадельне, тюрьме или пышной усыпальнице. Вдумайтесь, как немного надо, чтобы соорудить кров. Я видел в здешних краях индейцев племени Пенобскот, живших в палатках из тонкой хлопчатобумажной ткани, когда кругом почти на фут лежал снег, и думал, что они были бы рады еще более глубокому снегу, который лучше защищал бы их от ветра. Размышляя над тем, как мне честно заработать на жизнь и при этом не лишиться себя свободы для своего истинного призвания, — раньше этот вопрос тревожил меня еще больше, ибо сейчас я, к сожалению, стал менее чувствителен, — я часто поглядывал на большой ларь у железнодорожного полотна, шесть футов на три, куда рабочие убирали на ночь свой инструмент, и думал, что каждый, кому приходится туго, мог бы приобрести за доллар такой ящик, просверлить в нем несколько отверстий для воздуха и забираться туда в дождь и ночью; стоит захлопнуть за собой крышку, чтобы свободу духа обрести, и вольность и любовь[28]. Это казалось мне далеко не худшей из возможностей, и ею не следовало бы пренебрегать. Можешь ложиться спать, когда вздумается, а выходя, не бояться, что землевладелец или домовладелец потребует с тебя квартирную плату. Сколько людей укорачивает себе жизнь, чтобы платить за больший и более роскошный ящик, а ведь они не замерзли бы и в таком. Я отнюдь не шучу. Экономические вопросы допускают легкомысленные шутки, но шутками от них не отделаешься. Было время, когда крепкий и закаленный народ строил себе здесь отличные жилища почти целиком из тех материалов, какие имелись наготове у Природы. В 1674 г. Гукин,[29] ведавший делами индейских подданных Массачусетской колонии, писал: «Лучшие их дома очень плотно и тщательно кроются древесной корой, которую сдирают, когда дерево наливается соком, и сразу же спрессовывают крупными кусками, пока она зеленая. Дома похуже крыты циновками, которые плетутся из особого камыша; они тоже достаточно теплы и не протекают, хотя и не так хороши, как первые... Я видел постройки, достигавшие 60 и даже 100 футов в длину и 30 в ширину... Я часто ночевал в вигвамах, и они оказывались не менее теплы, чем лучшие английские дома». Он добавляет, что вигвамы обыкновенно устланы и обтянуты внутри вышитыми циновками прекрасной работы и обставлены разнообразной домашней утварью. Индейцы додумались даже до того, что регулировали силу ветра с помощью особого отверстия в крыше, завешанного циновкой, к которой подвязывалась веревка. Такое жилище можно построить самое большое за день — два, а разобрать и снова собрать за несколько часов, и у каждой семьи есть свое жилище, или хотя бы отдельная часть его.

У дикарей каждая семья имеет кров, не хуже чем у других, удовлетворяющий простейшим потребностям. У птиц есть гнезда, у лисиц — норы, у дикарей — вигвамы, а современное цивилизованное общество, скажу не преувеличивая, обеспечивает кровом не более половины семей. В крупных городах, где цивилизация победила окончательно, число имеющих кров составляет очень малую долю. Остальные ежегодно платят за эту внешнюю оболочку, ставшую необходимой и зимой, и летом, такие деньги, на которые можно приобрести целый поселок индейских вигвамов, и из-за этого живут в нужде всю свою жизнь. Я не намерен особо доказывать невыгоды наемного жилья по сравнению с собственным, но очевидно, что дикарь имеет собственное жилище потому, что это дешево, а цивилизованный человек снимает квартиру обычно потому, что не может позволить себе собственной, да и наемная в конце концов оказывается ему не по карману. Да, могут ответить мне, зато за эту плату бедняк в цивилизованной стране получает жилище, которое по сравнению с хижинкой дикаря может считаться дворцом. За ежегодную плату в размере от 25 до 100 долларов — таковы цены в сельских местностях — он пользуется всеми усовершенствованиями, достигнутыми в течение столетий: просторными комнатами, чисто окрашенными и оклеенными, румфордовскими печами,[30] штукатуркой, жалюзи, медным насосом, пружинным замком, удобным погребом и многим другим. Но отчего же получается, что тот, кто якобы пользуется всеми этими благами, оказывается *бедняком*, а лишенный их дикарь, по своим понятиям — богат? Если утверждать, что цивилизация действительно улучшает условия жизни, — а я думаю, что это так, хотя истинными ее выгодами пользуются только мудрецы, — тогда надо доказать, что она улучшила и жилища, не повысив их стоимости; а стоимость вещи я измеряю количеством жизненных сил, которое надо отдать за нее — единовременно или постепенно. В наших местах дом стóит в среднем около восьмисот долларов, и, чтобы отложить такую сумму, рабочий должен затратить 10–15 лет жизни, даже если он не обременен семьей. За средний заработок я беру доллар в день, потому что, если некоторые получают больше, то другие получают меньше, — вот и выходит, что он тратит большую часть жизни, пока заработает себе на вигвам. А если он снимает его, то я не знаю, какое из зол меньше. Мудро ли поступит дикарь, если он на этих условиях сменит свой вигвам на дворец?

Можно догадаться, что я свожу почти всю выгоду от приобретенной впрок ненужной собственности к тому, что таким образом можно отложить деньги на похороны. Но, может быть, человек не обязан сам себя хоронить? Тем не менее это указывает на существенное отличие цивилизованного человека от дикаря; не сомневаюсь, что имелось в виду наше благо, когда жизнь цивилизованного народа стала *системой*, при которой жизнь отдельного человека в значительной степени растворена в общей цели: сохранении и совершенствовании всей расы. Я хочу только показать, какой ценой достигается сейчас это преимущество, и предложить устроить нашу жизнь так, чтобы сохранить все преимущества и устранить недостатки. Зачем говорить: «Нищих вы всегда имеете с собою», или «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина»?[31]

«Живу я! — говорит господь бог, — не будут вперед говорить пословицу эту в Израиле.

Ибо вот, все души мои: как душа отца, так и душа сына — мои, душа согрешающая, та умрет»[32].

Глядя на своих соседей — конкордских фермеров, живущих во всяком случае не хуже других слоев населения, — я вижу, что им приходится работать 20, 30 и 40 лет, чтобы действительно стать владельцами своих ферм, которые они или наследуют вместе с закладными, или покупают на деньги, взятые займы. Треть их труда идет на оплату дома, но обычно они так и не выплачивают всей суммы. Правда, долги иногда превышают стоимость самой фермы, так что она становится величайшим бременем, и все-таки на нее находится наследник, хотя он и говорит, что знает ей цену. Расспросив податных инспекторов, я с изумлением узнал, что они затрудняются назвать в городе дюжину людей, у которых ферма не была бы обременена долгами. Историю этих усадеб лучше всего узнавать в банке, где они заложены. Человек, сполна расплатившийся за ферму только собственным трудом на ней, — это такая редкость, что вам его сразу укажут. Таких едва ли наберется трое во всем Конкорде. Если о торговцах говорят, что огромное большинство их — 97 из 100 — наверняка разоряется, то это относится и к фермерам. Правда, банкротство торговца, как правильно заметил один из них, большей частью не является настоящим денежным крахом, а лишь попыткой уклониться от выполнения затруднительных обязательств, т. е. крахом моральным. Но ведь это только бесконечно ухудшает картину и к тому же наводит на мысль, что и остальные трое едва ли спасают свои души и что они терпят крах в худшем смысле, чем честные банкроты. Банкротство и отказ от обязательств — вот та доска, с которой наша цивилизация совершает большую часть своих прыжков, тогда как дикарь стоит на другой доске, совсем не упругой: это — голод. А между тем у нас ежегодно с большой торжественностью устраивается Миддлсекская выставка скота, и можно подумать, что все части сельскохозяйственной машины находятся в полной исправности.

Фермер пытается решить проблему пропитания, но решает ее по формуле, более сложной, чем сама проблема. Чтобы заработать на шнурки для башмаков, он торгует целыми стадами. Он весьма искусно ставит капкан с тончайшей пружиной, надеясь добыть себе обеспеченность и независимость, и тут же сам попадает в него ногой. Вот причина его бедности; по той же причине и все мы лишены множества благ, доступных дикарю, хоть и окружены предметами роскоши. Как говорит Чапмен:

Людское суетное мнение

Во имя благ земных

Небесной радостью пренебрегает[33]

А когда фермер становится владельцем дома, он может оказаться не богаче, а беднее, потому что дом завладевает им. Я считаю, что Момус[34] справедливо критиковал дом, построенный Минервой, когда говорил, что «напрасно она не поставила его на колеса, чтобы можно было удаляться от плохого соседства». Это можно сказать и про наши дома, — они так громоздки, что часто оказываются скорее тюрьмами, чем жилищами; а дурные соседи, которых следует избегать, это мы сами, со всей нашей подлостью. Я, по крайней мере, знаю несколько здешних семей, которые много лет мечтают продать свои дома на окраине и перебраться в поселок, но так и не смогли осуществить это, и освободит их только смерть.

Допустим даже, что *большинству* удастся, наконец, приобрести или снять современный дом со всеми удобствами. Но цивилизация, улучшая наши дома, не улучшила людей, которым там жить. Она создала дворцы, но создать благородных рыцарей и королей оказалось труднее. *А если стремления цивилизованного человека не выше, чем у дикаря, если большую часть своей жизни он тратит лишь на удовлетворение первичных, низменных потребностей, почему жилище его должно быть лучше?*

Ну, а как обстоит с несчастным *меньшинством*? Оказывается, что чем больше некоторые возвысились над дикарями в отношении внешних условий жизни, тем больше принижены другие по сравнению с ними. Роскошь одного класса уравнивается нищетой другого. С одной стороны — дворец, с другой — приют для нищих и «тайные бедняки»[35] Бесчисленных рабов, строивших пирамиды для погребения фараонов, кормили чесноком, а хоронили, вероятно, кое-как. Каменщик, выложив карнизы дворца, возвращается вечером в лачугу, которая, может статься, хуже индейского вигвама. Ошибочно было бы думать, что если в стране существуют обычные признаки цивилизации, то в ней не может быть огромных масс населения, низведенных до уровня дикарей. Я сейчас говорю о деградации бедняков, а не богачей. Чтобы увидеть ее, мне достаточно заглянуть в лачуги, выстроенные вдоль всей железной дороги — этого последнего достижения цивилизации; я ежедневно вижу там людей, живущих в конурах, где дверь всю зиму стоит открытой, чтобы впустить хотя бы луч света, где не видно дров и трудно даже вообразить их, где старые и молодые одинаково сутулы, потому что вечно ежатся от холода и страданий и не в состоянии развиться ни физически, ни духовно. Да, не мешает приглядеться к жизни того класса, чьим трудом осуществляются все достижения нашего века. В большей или меньшей степени таково положение всех рабочих Англии, этого всемирного рабочего дома. Я мог бы назвать также и Ирландию, которая считается цивилизованной страной, потому что населена белыми людьми. Сравните, однако, физическое состояние ирландца с северо-американским индейцем или жителем островов южных морей или любым другим дикарем, прежде чем он выродился от общения с белыми. При этом я не сомневаюсь, что правители этого народа не глупее обычного среднего уровня цивилизованных правителей. Состояние ирландцев лишь доказывает, какое убожество может уживаться с цивилизацией. Едва ли нужно указывать также на рабов в наших Южных штатах, которые производят основные продукты нашего вывоза и сами являются основной продукцией Юга. Будем говорить лишь о так называемом *среднем* уровне жизни.

Большинство людей, видимо, никогда не задумывается над тем, что такое дом, и всю жизнь терпит ненужные лишения потому, что считает обязательным иметь такой же дом, как у соседа. Так и с одеждой. Неужели нам необходимо носить все, что может скроить портной; неужели, миновав период шляп из пальмовых листьев и шапок из суркового меха, мы будем жаловаться на трудные времена из-за того, что нам не по средствам корона? Можно создать дом еще комфортабельнее и роскошнее нынешнего, но все будут вынуждены признать, что он никому не по карману. Неужели мы должны вечно стремиться добыть побольше всех этих вещей, а не стараться иногда довольствоваться меньшим? Неужели почтенные граждане всегда будут с важностью внушать юношам, и советом и примером, необходимость приобрести, прежде чем умереть, известное количество ненужных галош и зонтов или пустых гостиных для пустых гостей? Почему бы нашей обстановке не быть такой же простой, как у арабов или индейцев? Когда я думаю о благодетелях человеческого рода,

которых мы прославляем как посланцев небес, принесших человеку божественные дары, я не представляю их себе в сопровождении пышной свиты или повозки, нагруженной модной мебелью. Я готов допустить — странное допущение, не правда ли? — чтобы наша обстановка была богаче, чем у араба в той мере, в какой мы превосходим его нравственно и умственно. Сейчас наши дома сплошь заставлены и засорены всякой всячиной; хорошая хозяйка живо вымела бы большую ее часть в мусорную яму, и это было бы полезной утренней работой. Утренняя работа! Во имя румяной Авроры и песни Мемнона,[36] какова же должна быть *утренняя работа* человека в нашем мире? У меня на столе лежало три куска известняка, но я с ужасом убедился, что с них ежедневно надо сметать пыль, а у меня и в голове ничего еще не было обметено, и я с отвращением выбросил их в окно. Как же мне обзаводиться обстановкой? Лучше уж я посижу под открытым небом — ведь на траве пыль не скапливается, если человек не распахивает землю.

Моды создаются праздными богачами, а толпа прилежно им следует. Путешественник, останавливающийся в так называемых лучших отелях, скоро это обнаруживает, ибо трактирщики обязательно считают его Сарданапалом, и стоит ему поручить себя их попечениям, как они лишают его всех признаков мужественности. Мне кажется, что на железной дороге мы тратим на роскошь больше, чем на безопасность и удобства, и вагон грозит превратиться в современную гостиную с ее диванами, оттоманками, экранами и множеством других восточных прихотей, придуманных для гаремных дам и изнеженных обитателей Небесной Империи, — и все это мы берем с собой на запад, когда Джонатану[37] стыдно бы даже знать все это по названиям. Я лучше буду сидеть на тыкве, лишь бы спокойно, чем тесниться на бархатных подушках. Я лучше поеду по земле на волах и буду дышать чистым воздухом, чем отправлюсь на небо в роскошном вагоне экскурсионного поезда,[38] всю дорогу вдыхая губительные *миазмы*.

Самая простота и обнаженность жизни первобытного человека имела по крайней мере то преимущество, что он был только гостем природы. Подкрепившись пищей и сном, он был готов продолжать странствие. Он жил в легком шатре и то шагал по долине, то пересекал равнину, то взбирался на вершины гор. А сейчас, увы! люди стали орудиями своих орудий. Человек, срывавший плоды, чтобы утолить голод, стал фермером, а тот, кто укрывался под сенью дерева, — домовладельцем. Мы теперь не останавливаемся на краткий ночлег, мы осели на земле и позабыли о небе. Мы восприняли христианство лишь как улучшенное *землеустройство*. На этом свете мы выстроили себе фамильный особняк, а для того света — фамильный склеп. Лучшие произведения искусства стремятся выразить борьбу человека против этого рабства, но воздействие искусства сводится к украшению нашей низкой доли и заставляет забывать о высшей. В нашем поселке нет места *подлинному* произведению искусства, если бы оно и попало к нам, потому что наша жизнь, наши дома и улицы не могут служить ему достойным пьедесталом. Тут не найдется гвоздя, чтобы повесить картину, или полки, чтобы поставить бюст героя или святого. Когда подумаешь, как строятся и оплачиваются — или не оплачиваются — наши дома и как ведется в них хозяйство, удивляешься, отчего не разверзнется пол под гостем, который любит безделушками на камине; пусть бы он очутился в погребе, где у него будет хотя бы твердая почва под ногами. Я не могу не видеть, что ради этой так называемой богатой и утонченной жизни надо прыгать выше головы, и я не в состоянии наслаждаться украшающими ее предметами изящных искусств, ибо мое внимание всецело занято прыжком. Я вспоминаю, что рекорды

прыжков без шеста или иной поддержки, с помощью одних только мускулов, принадлежат кочевым арабским племенам, где, говорят, умеют прыгать на 25 футов в длину. Без опоры человек наверняка упадет на землю, не одолев такого расстояния. Первый вопрос, который мне хочется задать владельцу столь непристойной собственности, это — что послужило вам шестом? Кто вы — один из 97 банкротов, или один из трех преуспевших? Ответьте на эти вопросы, а тогда я смогу разглядывать ваши безделушки и находить их прекрасными. Впрягать телегу впереди лошади и некрасиво, и нецелесообразно. Прежде чем украшать наши дома красивыми вещами, надо очистить в них стены, очистить всю нашу жизнь и в основу всего положить жизнь подлинно прекрасную, а сейчас чувство прекрасного лучше всего развивать под открытым небом, где нет ни домов, ни домоправительниц.

Старый Джонсон в своем «Чудотворном провидении», говоря о первых жителях нашего города, своих современниках, рассказывает, что они «вначале рыли себе убежища в склоне холма, а землю выбрасывали наружу, на бревенчатый настил, и разводили дымный костер у самой высокой стенки». «Они не строили себе домов, — пишет он, — пока земля, с благословения божьего, не напитала их хлебом», а первый урожай был у них такой скудный, что «им долго пришлось нарезать ломти очень тонко»[39]. Секретарь провинции Новые Нидерланды, который в 1650 г. писал по-голландски для сведения тех, кто хотел там поселиться, более подробно говорит, что «жители Новых Нидерландов и особенно Новой Англии, когда не могут выстроить себе сразу дом, какой им хотелось бы, роют в земле прямоугольную яму, наподобие погреба, в шесть — семь футов глубиной, любой нужной им ширины и длины, внутри всю ее обкладывают деревом, а потом корьем, или еще чем-либо, чтобы земля не оседала, на дно настилают доски и из досок же делают потолок, а над ним — крышу из перекладин, на которые кладется кора или дерн, и в таких землянках живут всей семьей в сухости и тепле по два, три и четыре года; а смотря по семье ставят внутри их перегородки. Когда зачиналась колония, так селились самые богатые и именитые люди Новой Англии, и вот по каким причинам: во-первых, чтобы не тратить много времени на постройку и из-за этого не остаться без урожая, а во-вторых, чтобы не обидеть работников, которых они в большом числе привозили со старой родины. А года через три — четыре, когда земля была возделана, они выстроили себе отличные дома, затратив на них несколько тысяч»[40].

Поступая таким образом, наши предки проявляли хотя бы видимость благоразумия и старались прежде всего удовлетворить самые насущные потребности. Удовлетворяем ли мы их сейчас? Когда я думаю приобрести роскошный особняк, меня удерживает мысль, что страна еще не возделана под *человеческую* культуру, и что наш *духовный* хлеб мы нарезаем куда тоньше, чем наши предки нарезали пшеничный. Это не значит, что надо вовсе пренебрегать архитектурными украшениями, даже в самые трудные времена; но пусть наши жилища, там где они соприкасаются с нашей жизнью, будут прекрасны прежде всего изнутри, как выложенная перламутром раковина моллюска, а не погребены под ворохом украшений. Но, увы! Я побывал в некоторых из них и знаю, чем они выстланы.

Хотя мы не настолько еще выродились, чтобы не могли и сейчас жить в пещере или вигваме и одеваться в шкуры, лучше, разумеется, использовать преимущества — правда, купленные столь дорогой ценой, — которые предоставляют нам труд и изобретательный ум человечества. В наших местах доски и кровельная щепка, известь и кирпичи дешевле и

доступнее, чем подходящие пещеры, или цельные бревна, или кора в достаточном количестве, или даже хорошая глина и плоские камни. Я говорю об этом со знанием дела, ибо ознакомился с ним и в теории и на практике. Если бы нам немного больше ума, мы могли бы так использовать эти материалы, что стали бы богаче всех нынешних богачей и сделали бы нашу цивилизацию подлинным благом. Современный человек — это более опытный и мудрый дикарь. Однако мне пора вернуться к моему собственному эксперименту.

В конце марта 1845 г. я одолжил топор и пошел в лес, на берег Уолденского пруда, где я хотел выстроить себе дом, и начал валить еще молодые, высокие и стройные белые сосны. Трудно начинать дело без того, чтобы не одолжить что-нибудь, но это, быть может, самый великодушный способ приобщить ближнего к своему предприятию. Владелец топора, вручая его мне, сказал, что топор этот дорог ему, как зеница ока, но я вернул его острее, чем он был. Я работал на склоне живописного холма, покрытого сосняком, сквозь который мне был виден пруд и маленькая лесная поляна, где подрастал орешник и молодые сосенки. Лед на пруду еще не сошел, хотя уже был в полыньях и весь потемнел и набух. Пока я там работал, подымалась временами легкая метель, но обычно, когда я, возвращаясь домой, выходил на полотно железной дороги, песчаная насыпь ярко желтела сквозь легкую дымку, рельсы блестели под весенним солнцем, и я слышал пение жаворонков, чибисов и других птиц, уже прилетевших к нам начинать новый год. То были славные весенние дни, когда оттаивала не только земля, но и «злая зима»[41] и жизнь пробуждалась от спячки. Однажды, когда топор у меня соскочил с топорща и я камнем забил в него клин из зеленой ветки ореха и опустил в полынью, чтобы дать дереву разбухнуть, я увидел, как в воду скользнула полосатая змея; она пролежала на дне все время, пока я там возился, более четверти часа, и, видимо, не ощущала никакого неудобства, должно быть потому, что еще не вполне очнулась от спячки. Мне представилось, что и люди вот так же довольствуются своим нынешним жалким положением; а если бы они ощутили пробуждающую силу истинной весны, то непременно поднялись бы к более высокой и одухотворенной жизни. Мне и раньше попадались морозными утрами на тропинке змеи, частично окоченелые и негнущиеся — ожидавшие, чтобы солнце согрело и оживило их. Первого апреля пошел дождь и растопил лед; в первой половине дня стоял густой туман, и я слышал, как отбившийся от стаи дикий гусь искал дорогу над прудом и гоготал, словно потерянный, или дух тумана.

Так я несколько дней валил и рубил лес на стойки и стропила, и все это одним узким топором, без особо ученых или сколько-нибудь законченных мыслей в голове, напевая про себя:

*Мы хвалимся, что знаем дело;
Увы! Все его улетело —
Искусства и науки,
И выдумки и штуки.
Ветерок порхает —
Вот все, что люди знают[42]*

Главные бревна я вырубал в шесть квадратных дюймов, большую часть стоек обтесывал только с двух сторон, стропила и доски для пола только с одной стороны, а на других

оставлял кору, и они вышли куда прочнее пиленых и такие же прямые. Каждая была тщательно отделана на конце для крепления на шипах, ибо к тому времени я одолжил и другие инструменты. Мой рабочий день в лесу бывал не очень долгод, но все же я обычно брал с собой завтрак — хлеб с маслом — и в полдень усаживался поесть на срубленные мною зеленые ветви сосен и читал газету, в которую был завернут завтрак; хвойный запах сообщался моему хлебу, потому что руки у меня были все в смоле. И хотя я срубил несколько сосен, но, познакомившись с ними поближе, я стал им скорее другом, чем врагом. Иногда на стук моего топора подходил прохожий, и мы заводили приятную беседу над кучей нарубленных мною щепок.

К середине апреля — ибо я не спешил с работой, а наслаждался ею — сруб был готов, и его можно было ставить. Я заранее купил на доски хижину Джеймса Коллинза, ирландца, работавшего на Фичбургской железной дороге. Хижина Джеймса Коллинза считалась отличной. Когда я пришел поглядеть ее, хозяина не было дома. Я обошел ее снаружи, невидимый обитателям, — так высоко было окошко. Она была маленькая, с островерхой крышей, и больше ничего разглядеть было нельзя, потому что грязи вокруг было на пять футов, точно тут заложили компост. Крепче всего была крыша, но и она сильно покоровилась от солнца. Порога не было, и под дверь был постоянный лаз для кур. Миссис К. вышла к дверям и пригласила меня осмотреть дом внутри. Куры при моем приближении укрылись в доме. Там было темно, пол был большей частью земляной — липкий, сырой, малярийный, и только местами лежали доски, просто потому, что их трудно было бы вытащить. Хозяйка засветила лампу, чтобы показать мне изнутри стены и кровлю, а также подтвердить, что доски были настланы даже под кроватью, и при этом остерегла, чтобы я не оступился в погреб — яму в два фута глубиной. По ее словам, «потолок был хоть куда, все доски хоть куда и окно тоже хоть куда» — в нем даже было вначале два целых стекла, да вот недавно их разбила кошка. В лачужке помещались печь, кровать, стул, ребенок, здесь же и родившийся, шелковый зонтик, зеркало в золоченой раме и новая патентованная кофейная мельница, прибитая к стволу молодого дубка. Сделка состоялась быстро, потому что к этому времени пришел Джеймс. Я должен был уплатить четыре доллара 25 центов, а он — освободить помещение к пяти часам утра следующего дня и уже больше никому его не продавать; я мог явиться к шести и вступить во владение своим имуществом. Следовало бы прийти даже пораньше, сказал он, чтобы опередить возможные, но совершенно несправедливые претензии по аренде земли, а также по счетам за дрова. Это, как он меня заверил, было единственным затруднением. В шесть часов утра он встретился мне на дороге со своим семейством. Все их имущество уместилось в одном большом узле — постель, кофейная мельница, зеркало, куры — все, кроме кошки. Она ушла в лес и стала дикой кошкой, а потом, как я слышал, попала в капкан, поставленный на сурков, так что стала в конце концов мертвой кошкой.

Я в то же утро разобрал их жилище, вытащил гвозди, перевез доски на тачке на берег пруда и разложил их в траве, чтобы солнце их выбелило и распрямило. Пока я вез тачку по лесной тропе, ранний дрозд раза два подал мне голос. Ирландский мальчишка предательски сообщил мне, что пока я ездил с тачкой, сосед Сили, тоже ирландец, рассовал по карманам все самые прямые и годные гвозди, костыли и скобы; когда я вернулся, он поздоровался как ни в чем не бывало и невинно поглядел на разрушение: «с работой сейчас трудно», — сказал он. Он у меня представлял зрителей и помог приравнять незначашее по-видимому событие к

переселению троянских богов[43].

Погреб я выкопал в южном склоне холма, где раньше была сурковая нора, — глубже корней сумаха и смородины и всякой другой растительности, шесть квадратных футов и семь в глубину, там, где начинается слой отличного мелкого песка и картофель не промерзнет в любую стужу. Края я сделал уступами и не выложил камнем, но этот песок никогда не видел света солнца и не осыпался до сих пор. Это отняло у меня не больше двух часов. Рытье доставило мне особенное удовольствие, ибо почти на всех широтах люди углубляются под землю в поисках более ровной температуры. Под самым роскошным городским домом вы найдете все тот же погреб, где, как и встарь, хранятся овощи. Дом давно исчез, а потомство обнаруживает его по углублению, оставленному им в земле. Наш дом по сути дела — все еще только крыльцо перед входом в нору.

Наконец, в начале мая, с помощью нескольких приятелей, приглашенных скорей ради добрососедских отношений, чем по необходимости, я поставил свой сруб. Никогда еще не было у человека столь достойных помощников[44]. Мне хочется верить, что им суждено возвести когда-нибудь более величественные строения. Я переселился в свой дом 4-го июля, как только он был обшит и покрыт крышей; доски имели тщательно скошенные края и заходили друг за друга, так что совершенно не пропускали дождя, но прежде чем обшивать, я сложил основание для печи, а для этого своими руками натаскал с пруда не менее двух возов камней. Печную трубу я выложил осенью, когда кончил мотыжить, но раньше, чем мне понадобилось топить, а до того стряпал рано утром под открытым небом, прямо на земле, и этот способ до сих пор считаю в некоторых отношениях более удобным и приятным, чем обычный. Если гроза заставляла меня, когда я пек хлеб, я укрывал огонь несколькими досками, сам укрывался под ними, и пока хлеб не был готов, проводил таким образом приятные часы. В те дни руки мои были постоянно заняты, и я мало читал, но зато всякий клочок печатной бумаги, попадавший на землю или служивший вместо скатерти или тряпки, доставлял мне не меньше удовольствия, чем «Илиада».

Стоило бы, пожалуй, строить еще неторопливее, чем это делал я: обдумывать, каково назначение в нашей жизни двери, окна, погреба, чердака, и ничего не возводить, пока для этого не будут обнаружены более веские основания, чем даже наши потребности на этом свете. В том, что человек сам строит свое жилище, есть глубокий смысл, как в том, что птица строит свое гнездо. Как знать, быть может, если бы люди строили себе дома своими руками и честно и просто добывали пищу себе и детям, поэтический дар стал бы всеобщим: ведь поют же все птицы за этим занятием. Но мы, к сожалению, поступаем подобно кукушкам и американским дроздам, которые кладут яйца в чужие гнезда и никого не улаждают своими немзыкальными выкриками. Неужели мы навсегда уступили плотникам радость строительства? Что же значит тогда архитектура для огромной массы людей? Никогда еще во время своих прогулок я не встречал человека за таким простым и естественным делом, как постройка собственного жилища. Мы стали всего лишь частицами общественного целого. Не только портной составляет одну девятую часть человека,[45] но также и проповедник, и торговец, и фермер. До чего же дойдет это бесконечное разделение труда? И какова, в сущности, его цель? Возможно, кто-нибудь другой смог бы даже и думать за меня, но вовсе не желательно, чтобы он это делал настолько, что я отвыкну думать сам.

Правда, у нас есть так называемые архитекторы, и я слышал об одном,[46] который словно величайшее откровение выдвинул мысль, что архитектурные украшения должны исходить из некоего смысла, быть необходимы и только поэтому прекрасны. Все это, может быть и хорошо с его точки зрения, но лишь немногим лучше обычного дилетантства. Этот сентиментальный реформатор архитектуры начал с карниза, а не с фундамента. Он заботится лишь о том, чтобы вложить в украшение некий смысл, как в конфету вкладывают миндаль или тминное зернышко, — хотя я нахожу, что миндаль полезнее без сахара, — вместо того, чтобы учить обитателей правдиво строить внутри и снаружи, а украшения сами приложатся. Неужели хоть один разумный человек полагает, что украшения — это нечто внешнее и поверхностное; что черепаха получила свой пятнистый панцирь, а устрица — перламутровые отливы своей раковины посредством такого же договора с подрядчиком, как жители Бродвея — свою церковь Троицы? Но человек так же не властен над архитектурным стилем своего дома, как черепаха над строением своего панциря; и солдату ни к чему расписывать свое знамя *всеми цветами* своей доблести. Противник все равно обнаружит истину. В час испытания солдат может побледнеть. Мне кажется, что этот архитектор оперся о карниз и робким шепотом сообщает свою полуправду грубым жильцам, которые знают ее лучше, чем он. Вся архитектурная красота, какую я сейчас вижу, постепенно выросла изнутри, из нужд и характера обитателей, которые одни только и являются подлинными строителями; из некоей бессознательной правдивости и благородства, не помышлявшего о внешнем; и всякой подобной красоте, которой еще суждено родиться, будет предшествовать бессознательная красота самой жизни. Наиболее интересными по архитектуре строениями в нашей стране, как известно художникам, являются скромные и непритязательные бревенчатые хижины бедняков; именно жизнь их обитателей, которым они служат скорлупой, а не одни лишь внешние особенности, делают их *живописными*; столь же интересен будет и пригородный коттедж горожанина, когда жизнь его станет так же проста, и ее так же приятно будет себе вообразить, а в облике его жилища не будет никакой погони за эффектом. Большая часть архитектурных украшений пуста в буквальном смысле этого слова, и осенний ветер мог бы сорвать их как заемные перья, без ущерба для самого здания[47]. У кого в погребе нет маслин и вина, тот может обойтись без *архитектуры*. Что было бы, если бы столько же украшений требовалось в литературе, и архитекторы наших библий уделяли бы столько же внимания карнизам, сколько строители церквей? Так вот и создаются *беллетристика, изящные искусства* и их служители. Что за дело человеку до того, какой наклон придан доскам над его головой или под ногами и в какие цвета окрашен его коттедж? Если бы он сам клал эти доски или красил их, это еще имело бы какой-то смысл, но когда от них отлетает дух их обитателя, это все равно, что сколачивать гроб, — это могильная архитектура, и сказать «плотник» — все равно, что сказать «гробовщик».

Некто, в приступе отчаяния или апатии, говорит: возьми пригоршню праха у своих ног и окрась в этот цвет свой дом. Может быть, он имеет в виду последнее тесное жилище? Подбросим монетку, чтобы это решить. Сколько же у него должно быть досуга! И зачем брать пригоршню праха? Лучше выкрасить дом под собственный цвет лица, и пускай он бледнеет или краснеет за тебя. Движение за улучшение архитектурного стиля жилых коттеджей! Когда мои украшения будут готовы, тогда я их и надену.

К зиме я сложил очаг и обшил стены гонтом, хотя они и без того не пропускали воду, — грубым, сырым гонтом из первого распила бревна, который мне пришлось выравнять по краям фуганком.

У меня получился, таким образом, теплый, обшитый и оштукатуренный дом, десять футов на пятнадцать, с восьмифутовыми столбами, с чердаком и чуланом, с большим окном на каждой стороне, с двумя люками в полу, с входной дверью на одном конце и кирпичным очагом — на противоположном. Ниже я привожу точную стоимость моего дома, при обычных ценах на материалы, но не считая работы, которую я целиком произвел сам; все эти подробности я даю потому, что лишь очень немногие сумели бы точно указать, во что обошелся их дом, и почти никто не скажет, сколько стоили в отдельности различные материалы, которые на него пошли:

“ Доски — 8 долл. 03 1/2 ц. (большей частью из хижины)
Бросовый гонт на кровлю и стены — 4.00
Дранка — 1.25
Две подержанные рамы со стеклами — 2.43
Тысяча шт. старого кирпича — 4.00
Два бочонка извести — 2.40 (дорого)
Пакля — 0.31 (больше, чем мне требовалось)
Железная дверца для печи — 0.15
Гвозди — 3.90
Петли и винты — 0.14
Щеколда — 0.10
Мел — 0.01
Доставка — 1.40 (большую часть я принес на своей спине)

Итого — 28 долл. 12 1/2 ц.

Вот и все, кроме леса, камней и песка, которые я брал на правах скваттера. При доме у меня есть небольшой дровяной сарай, построенный главным образом из остатков материалов.

Я намерен выстроить себе дом, который красотой и великолепием превзойдет все, что имеется на главной улице Конкорда, при условии, чтобы он так же нравился мне, как нынешний, и обошелся не дороже.

Итак, я обнаружил, что слугитель науки, нуждающийся в жилище, может сам выстроить его себе на всю жизнь за ту же цену, какую он сейчас ежегодно платит домохозяину. Если вам кажется, что я непомерно расхвастался, я могу оправдаться тем, что хвастаю ради людей больше, чем ради себя; и все мои погрешности и непоследовательности не умаляют правды моих слов. Несмотря на большую долю ханжества и лицемерия — мякину, которую мне трудно отделить от моего зерна, но на которую я сам досажаю не меньше другого, — я хочу свободно дышать и дать себе волю; ведь это такое облегчение для души и тела; и я твердо решил, что не стану из скромности адвокатом дьявола[48]. Я хочу замолвить слово за правду. В Кембридже[49] одна только комната, немногим больше моей, обходится студенту в тридцать долларов в год, хотя корпорации строительство обошлось дешевле, потому что

она строила их сразу тридцать две под одной крышей; и к тому же жилец вынужден терпеть многочисленных и шумных соседей, да еще может оказаться на четвертом этаже. Если бы мы были мудрее в этих вопросах, нам не только требовалось бы меньше образования, потому что мы отчасти получали бы его попутно, но и расходы на образование очень сильно сократились бы. Те удобства, какие требуются студенту в Кембридже или другом месте, стоят ему или кому-то другому в десять раз больше сил, чем было бы возможно при разумном подходе обеих сторон к делу. То, что стоит всего дороже — это отнюдь не то, что всего нужнее студенту. Важную статью его расходов за семестр составляет плата за обучение, а за то, гораздо более ценное, образование, которое дает ему общение с наиболее культурными из его современников, с него ничего не взимают. Для основания колледжа обычно проводят подписку, а затем, слепо следуя принципу разделения труда — принципу, который надо бы всегда применять осмотрительно, — приглашают подрядчика, который на этом наживается, а тот нанимает ирландцев или других рабочих, чтобы заложить фундамент, а будущие студенты тем временем якобы готовят себя к поступлению, и за этот недосмотр расплачиваются следующие поколения. Я считаю, что *было бы лучше*, если бы студенты и все, кто хочет получить пользу от колледжа, сами клали его фундамент. Студент, добивающийся желанного досуга и покоя упорным уклонением от всякого полезного труда, получает досуг постыдный и бесплодный, лишая себя того опыта, который один только может сделать досуг плодотворным. «Но, — скажут мне, — не хотите же вы, чтобы студенты работали руками, а не головой?» Я хочу не совсем того, но читателю это может представиться именно так: я хочу, чтобы студент не *играл* в жизнь, и не просто изучал ее, пока общество оплачивает эту дорогую игру, а серьезно *участвовал* в жизни от начала до конца. Что может лучше научить юношу жить, как не непосредственный опыт жизни? Думается, что он будет не худшим упражнением для их ума, чем математика. Если бы я хотел, чтобы юноша усвоил науки и искусства, я не поступил бы, как сейчас принято, то есть не послал бы его к профессору, который изучает что угодно, кроме жизни, чтобы он там глядел на мир в телескоп или в микроскоп, лишь бы только не собственными глазами; изучал химию, но не узнал как пекут хлеб; или механику, но не узнал, как этот хлеб зарабатывают; открывал новых спутников Нептуна, а в собственном глазу не видел сучка и не знал, чей спутник он сам, какого блуждающего небесного тела; созерцал чудовищ, плавающих в капле уксуса, а в это время дал себя пожрать чудовищам, которые кишат вокруг него. Кто научится большому к концу месяца — мальчик, который сам выковал себе нож из металла, им самим добытого и выплавленного, и прочел при этом столько, сколько нужно для этой работы, или мальчик, который вместо этого посещал в институте лекции по металлургии, а ножик Роджерса[50] получил в подарок от отца? Кто из них скорее порежет себе палец?.. Оканчивая колледж, я с удивлением узнал, что я, оказывается, изучал там навигацию! Да если бы я раз прошелся по гавани, я узнал бы о ней больше. Даже *бедному* студенту преподают только *политическую* экономию, а экономией жизни, или другими словами, философией в наших колледжах никто серьезно не занимается. В результате, читая Адама Смита, Рикардо и Сэя,[51] студент влезает в долги и разоряет своего отца.

Так же, как с нашими колледжами, обстоит дело с сотней других «современных достижений»; в них много иллюзорного и не всегда подлинный прогресс. Дьявол продолжает взимать сложные проценты за свое участие в их основании и за многочисленные последующие вклады. Наши изобретения часто оказываются занятыми

игрушками, отвлекающими нас от серьезных дел. Это лишь усовершенствованные средства к цели, а сама-то цель не усовершенствована и чрезмерно легко достижима — все равно, что поехать по железной дороге в Бостон или Нью-Йорк. Мы очень спешим с сооружением магнитного телеграфа между штатами Мэн и Техасом; ну, а что, если Мэну и Техасу нечего сообщать друг другу? Они окажутся в положении человека, который стремился быть представленным некой важной глухой даме,[52] а когда это состоялось, и один конец ее слуховой трубки оказался у него в руке, ему нечего было сказать. Неужели главная цель в том, чтобы говорить побыстрее, а не в том, чтобы говорить разумно? Мы стремимся прорыть туннель под Атлантическим океаном и на несколько недель сократить путь от Старого Света к Новому; но первой вестью, которая достигнет жадного слуха Америки, может оказаться весть о коклюше принцессы Аделаиды[53]. Если у кого лошадь делает милю в минуту, это еще не значит, что он везет самые важные вести; он не евангелист и не питается акридами и диким медом[54]. Я сомневаюсь, чтобы Летучий Чайлдерс,[55] когда-нибудь подвез на мельницу хоть четверть бушеля зерна.

Кто-то сказал мне: «Удивляюсь, что вы не откладываете деньги; ведь вы любите путешествовать; вы могли бы сесть в вагон и хоть сегодня же поехать в Фичбург[56] повидать новые места». Но я не так глуп. Я знаю, что быстрее всего путешествовать пешком. Я сказал своему приятелю: посмотрим, кто доберется туда раньше. Расстояние — тридцать миль; проезд стоит девяносто центов. Это почти равно дневному заработку. Я помню, когда на этой самой дороге рабочим платили шестьдесят центов в день. Итак, я выхожу пешком и к вечеру буду уже на месте; мне приходилось ходить по стольку и целыми неделями подряд. А тебе надо сперва заработать на проезд, и ты будешь там завтра, или может быть, к ночи, если посчастливится вовремя найти работу. Вместо того, чтобы идти в Фичбург, ты почти весь день проработаешь здесь. Если железная дорога опояшет всю землю, думаю, что и тогда я буду тебя обгонять; а что касается знакомства со страной и всякого рода опыта, тут тебе и вовсе за мной не угнаться.

Таков всеобщий закон, который никому не удастся обойти; мы видим на примере железной дороги, что тут выходит то же на то же. Соорудить кругосветную железную дорогу, доступную всем людям, это все равно что нивелировать всю поверхность планеты. Людям смутно представляется, что стоит только дать орудовать акционерным компаниям и лопатам, — и все смогут куда-то доехать в мгновение ока и притом задаром; и действительно — на вокзале собирается толпа и кондуктор выкрикивает: «Просьба занять места!»; но когда рассеется дым и осядет пар, окажется, что поехали лишь немногие, а остальных переехало, и это будет названо «несчастливым случаем», достойным всяческого сожаления. Те, кто зарабатывает на проезд, конечно, смогут поехать, если доживут, но скорее всего они к тому времени отяжелеют, и им уже никуда не захочется ехать. Эта трата лучших лет жизни на то, чтобы заработать и потом наслаждаться сомнительной независимостью в оставшиеся, уже отнюдь не лучшие годы, напоминает мне об англичанине, который хотел сперва разбогатеть в Индии, а потом вернуться в Англию и жить жизнью поэта[57]. Лучше бы он сразу поселился на чердаке. «Как! — воскликнет миллион ирландцев, выскакивая повсюду из своих лачуг. — Неужели плоха дорога, которую мы построили?» «Нет, — отвечу я. — Относительно неплоха, она могла бы получиться и хуже, но как своим ближним я пожелал бы вам получше провести время, вместе того, чтобы копаться в этой грязи».

Еще до окончания постройки, желая честно и приятно заработать десять-двенадцать долларов для покрытия лишних расходов, я засадил прилегающие к дому два с половиной акра легкой песчаной почвы главным образом бобами, а отчасти картофелем, кукурузой, горохом и свеклой. Весь участок в одиннадцать акров, заросший большей частью соснами и орешником, был за год до того продан по восемь долларов восемь центов за акр. Один фермер сказал, что он «годился только, чтобы разводить писклявых белок». Я совершенно не удобрял землю, будучи не владельцем, а только скваттером и не предполагая опять столько сеять, и даже не промотыжил ни разу всего огорода целиком. При вспашке я выкорчевал немало пней, которых мне надолго хватило на дрова; на их местах остались маленькие участки целинной почвы, которые все лето легко было различить — так буйно разрослись на этих местах бобы. Кроме того, я использовал на топливо сухостой за домом, большей частью негодный для продажи, и бревна, выловленные из пруда. Для вспашки пришлось нанять человека и упряжку, хотя за плугом ходил я сам. Расходы по моей ферме в первый год на орудия, семена, работу и пр. составили 14 долл. 72 1/2 цента. Кукурузу для посева я получил даром. Это никогда не бывает статьей расхода, если не сеять лишнего.

Я собрал двенадцать бушелей бобов и восемнадцать бушелей картофеля, а кроме того, немного гороха и сахарной кукурузы. С зубовидной кукурузой и брюквой я запоздал, и из них ничего не получилось.

Доход от фермы составил: 23 доллара 44 ц.

За вычетом расходов: 14 долларов 72 1/2 ц.

Чистого дохода: 8 долл 71 1/2 ц.

Это — не считая потребленных мной продуктов и тех, что у меня еще оставались в запасе, когда я подсчитывал, — примерно на 4 доллара 50 центов; запас этот с избытком компенсировал то, что я потерял, когда решил не сеять травы. Принимая во внимание все, в том числе ценность человеческой души и сегодняшнего дня, и несмотря на краткость моего эксперимента, а может быть, именно благодаря его краткости, я, вероятно, преуспел в тот год больше, чем любой фермер в Конкорде.

На следующий год я преуспел еще более, потому что вскопал всю землю, какая была мне нужна — около трети акра; не преклоняясь перед многими знаменитыми руководствами по сельскому хозяйству, в том числе книгой Артура Юнга,[58] я на опыте этих двух лет усвоил, что если жить просто и есть только то, что сеешь, а сеять не больше, чем можешь съесть и не стремиться обменять свой урожай на недостаточное количество более роскошных и дорогих вещей, то для этого довольно крохотного участка; что эту землю выгоднее вскопать лопатой, чем пахать на волах; что лучше время от времени переходить на новое место, чем удобрять старое; что все работы можно выполнить шутя, между делом, в летние дни, и, значит, не надо обременять себя волом, лошадью, коровой или свиньей, как это сейчас принято. Я стараюсь обсуждать этот вопрос беспристрастно, как лицо, не заинтересованное в успехе или крахе нынешнего экономического и общественного порядка. Я был независимее любого фермера в Конкорде, ибо не был привязан к дому или ферме и мог свободно следовать своим склонностям, а они весьма причудливы. Дела у меня обстояли

лучше, чем у них, и даже если бы сгорел мой дом или погиб урожай, они почти не пошатнулись бы.

Мне часто кажется, что не люди пасут стада, а стада гоняют людей, — настолько первые свободнее. Люди и волы работают друг на друга, но если считать один лишь полезный труд, то все преимущество окажется на стороне волов, — настолько их участки обширнее. Часть работы, выполняемой за вола, приходится у человека на шесть недель сенокоса, — и работа эта нешуточная. Ни одна нация, живущая во всех отношениях просто — то есть, ни одна нация философов — не была бы способна на такую глупость, как применение рабочего скота. Правда, нации философов никогда еще не было и едва ли скоро будет, — да я и не уверен, что ее появление желательно. Но должен сказать, что я не стал бы приручать лошадь или быка и брать их на содержание ради работы, которую они могли бы для меня выполнить, — я боялся бы целиком превратиться в конюха или пастуха; если общество и выиграло от этого приручения, то ведь выигрыш одних может оказаться проигрышем для других, и я не уверен, что конюх имеет те же основания считать себя в выигрыше, что и хозяин. Допустим, что некоторые общественные работы не могли быть выполнены без этой помощи; что ж, пусть человек в таких случаях делит славу с волом и лошастью. Но разве он не сумел бы вместо этого совершить другое дело, еще более достойное его? Когда люди применяют рабочий скот не только для возведения памятников искусства, в сущности ненужных, но и для пустых прихотей роскоши, другим людям поневоле приходится целиком работать на этот скот, иначе говоря, стать рабами сильнейших. И вот человек не только угождает животному, которое живет в нем самом, но и вынужден работать — и в этом есть символический смысл — на животных, живущих в его хлевах. Хотя у нас много прочных домов из кирпича и камня, благосостояние фермера поныне измеряется тем, насколько хлев у него больше дома. Говорят, что наш город имеет самые просторные в здешних краях помещения для волов, коров и лошадей; не отстают от них и общественные здания, но как мало в нашем округе зданий для свободной молитвы и свободных речей[59]. Нациям следовало бы увековечивать себя не памятниками архитектуры, а памятниками мысли. Насколько «Бхагаватгита»[60] величественнее всех руин Востока! Башни и храмы — это роскошь для королей. А прямой и независимый ум не станет трудиться по монаршему приказу. Гений не состоит в свите императора и для воплощения его замыслов ему не нужно много золота, серебра и мрамора. К чему, спрашивается, столько тесаного камня? Когда я был в Аркадии, я его что-то не заметил. Нации одержимы честолюбивым стремлением увековечить себя в тесаных камнях. Лучше бы они потратили столько же труда на то, чтобы обтесать и отшлифовать свои нравы! Один разумный поступок был бы памятнее любого памятника высотой до самой луны. Мне больше по душе камни в их природном виде. Величие Фив было вульгарным. Лучше низенькая стенка вокруг усадьбы честного человека, чем стовратные Фивы, где люди забыли об истинной цели жизни. Религия и культура варварских и языческих эпох оставила после себя великолепные храмы, но так называемый христианский мир этого не делает. Сколько бы камня ни обтесывала нация, он идет большей частью на ее гробницу. Под ним она хоронит себя заживо. Самое удивительное в пирамидах — это то, что столько людей могло так унизиться, чтобы потратить свою жизнь на постройку гробницы для какого-то честолюбивого дурака. Они поступили бы умнее и достойнее, если бы утопили его в Ниле, а потом бросили на съедение псам. Может быть, и можно придумать что-нибудь в оправдание им и ему, но мне это делать недосуг. Что касается веры и любви строителей к своему делу, то она всюду одинакова — будь то

египетский храм или банк Соединенных Штатов. Она обходится дороже, чем того стоит. Главным двигателем является тщеславие в сочетании с пристрастием к чесноку и хлебу с маслом. Мистер Болком, молодой архитектор, подающий надежды, чертит проект на обложке своего Витрувия[61] с помощью жесткого карандаша и линейки, а потом подряд передается Добсону и Сыновьям, каменотесам. Когда с высоты этого сооружения на вас глядят тридцать веков, люди тоже начинают поглядывать на него с почтением. Все эти башни и монументы напоминают мне одного здешнего сумасшедшего, который задумал дорыться до Китая и так глубоко ушел в землю, что уверял, будто уже слышит звон китайских горшков и кастрюль; но я вовсе не склонен идти любоваться выкопанной им ямой. Многим хотелось бы знать имена строителей прославленных памятников Запада и Востока. А мне скорее хотелось бы знать, кто в те времена не строил — кто был выше этих пустыков. Но возвращаюсь к своей статистике.

За это время я заработал на селе — землемерными, плотничьими и другими поденными работами, ибо я знаю столько ремесел, сколько у меня пальцев на руках — 13 долларов 34 цента. Привожу расходы на еду за восемь месяцев — с 4 июля по 1 марта, когда я произвел эти подсчеты, хотя всего я прожил там более двух лет, — не считая картофеля, небольшого количества зеленой кукурузы и гороха, которые я вырастил сам, а также стоимости запасов, еще остававшихся у меня к этому дню:

Рис — 1 долл. 73 1/2 ц.

Патока — 1.73 (самое дешевое из сахаристых веществ)

Ржаная мука — 1.04 3/4

Кукурузная мука — 0.99 3/4 (дешевле ржаной)

Свинина — 0.22

Эти опыты оказались неудачными:

Пшеничная мука — 0.88 (дороже и больше хлопот)

Сахар — 0.80

Свиное сало — 0.65

Яблоки — 0.25

Сушеные яблоки — 0.22

Бататы — 0.10

Одна тыква — 0.06

Один арбуз — 0.02

Соль — 0.03

Да, я действительно съел продуктов на 8 д. 74 ц.; я не стал бы признаваться в этом столь беззастенчиво, если бы не знал, что большинство моих читателей виновно наравне со мной и что их деяния выглядели бы в печати не лучше. В следующем году мне иногда удавалось наловить к обеду рыбы, а однажды я даже убил сурка, который опустошал мое бобовое поле, — осуществил переселение его души, как оказал бы татарин, и съел его, больше ради эксперимента; я получил некоторое удовольствие, несмотря на привкус мускуса, но увидел, что вводить это в обиход не стоит, даже если бы готовые тушки сурков продавались в мясной лавке.

За то же время расходы на одежду и некоторые другие случайные расходы составили: 8 долл. 40 3/4 ц.

Масло для лампы и разная домашняя утварь: 2 долл.

Таким образом, все расходы, кроме стирки и штопки, которую я большей частью отдавал на сторону и за которую еще не получил счетов, — и больше уж, кажется, в наших местах не на что тратиться — выразились в следующих цифрах:

Дом — 28 долл. 12 1/2 ц.

Ферма за год — 14.72 1/2

Питание за 8 мес. — 8.74

Одежда и пр. за — 8 мес. 8.40 3/4

Масло для лампы и пр. за 8 мес. — 2.00

Итого — 61 долл. 99 3/4 ц.

Обращаюсь теперь к тем из моих читателей, которым приходится зарабатывать себе на жизнь. Для покрытия этих расходов мной было:

Продано выращенных с.-х. продуктов на 23 долл. 44 ц.

Заработано поденной работой — 13.34

Итого — 26 долл. 78 ц.

Если вычесть это из моих расходов, остается 25 долл. 21 3/4 ц. — примерно та сумма, с которой я начал свой опыт. Таков, следовательно, дебет. А в кредит надо занести — не считая того, что я обеспечил себе досуг и независимость и укрепил свое здоровье — еще и удобный дом, где я могу жить сколько мне вздумается.

Эти цифры могут показаться случайными и поэтому недоказательными; однако в них есть некоторая полнота, а потому и некоторая ценность. Я отчитался во всем, что получил. Из приведенных цифр видно, что питание обходилось мне деньгами двадцать семь центов в неделю. Почти два года после этого оно состояло из ржаного и кукурузного хлеба без дрожжей, картофеля, риса, очень небольшого количества соленой свинины, патоки и соли, а напитком служила вода. Как поклоннику индийской философии мне подобало питаться главным образом рисом. Предвосхищая неизбежные возражения придирчивых людей, я могу заявить, что, если иногда обедал в гостях, как делал и раньше и надеюсь делать впредь, — это нарушало заведенный дома порядок. Но стоимость этих обедов, как величина постоянная, ни в коей мере не может отразиться на моей сравнительной статистике.

На своем двухлетнем опыте я убедился, что добыть необходимое пропитание удивительно легко, даже в наших широтах; что человек может питаться так же просто, как животные, и при этом сохранить здоровье и силу. Мне случалось вполне удовлетворительно пообедать одним портулаком (*Portulaca oleracea*), сорванным у меня на поле и сваренным в подсоленной воде. Я привожу латинский термин ради аппетитной второй части[62]. Чего еще, спрашивается, желать разумному человеку в мирное время и в будние дни, кроме хорошей порции кукурузы, сваренной с солью? Даже то разнообразие, какое я себе позволял, было скорее уступкой требованиям аппетита, чем здоровья. А люди дошли до того, что умирают не от недостатка необходимого, а от потребности в излишествах, и я знаю женщину, которая убеждена, что сын ее скончался оттого, что стал пить одну воду.

Читатель, вероятно, заметил, что я подхожу к своему предмету скорее с экономической, чем с диетической точки зрения, и не решится повторить мой опыт воздержания, если у него нет в кладовой богатых запасов.

Хлеб я пек сперва из чистой кукурузной муки с солью, в виде плоских лепешек, и пек их на огне, под открытым небом, на щепке или на конце палочки, взятой с моей стройки, но они получались закопченными и отзывали смолой. Пробовал я и пшеничную муку, но в конце концов остановился на смеси ржаной муки с кукурузной, которая всего вкуснее и удобнее для выпечки. В холодные дни было очень приятно печь из нее, по одному, маленькие хлебцы, поворачивая их так же тщательно, как египтяне — яйца, из которых они искусственно выводили цыплят. В моих руках созрел подлинный плод полей, казавшийся мне таким же ароматным, как другие благородные плоды, и я старался сохранить этот аромат подольше, заворачивая хлебы в полотенца. Я изучил древнее и важное искусство хлебопечения по доступным мне источникам с самого его зарождения, с первого пресного хлеба, когда человек после первобытной дикости орехов и мяса впервые вкусил этой утонченной пищи; я прочел далее о случайно скисшем тесте, которое, как полагают, навело людей на мысль о заквашивании, а затем о различных способах заквашивания, вплоть до «доброго, здорового, вкусного хлеба», опоры жизни. Дрожжи, почитаемые некоторыми за душу хлеба, за *spiritus*, оживляющий его клетчатку, и поэтому тщательно хранимые, подобно девственному огню, — в Америку они, вероятно, были доставлены в какой-нибудь бутылки, бережно привезенной на «Мэйфлаузере»,[63] и с тех пор их волны все выше вздымаются, все шире разливаются по стране, — дрожжи я регулярно и заботливо добывал в деревне, но однажды, позабыв правило, обдал их кипятком; благодаря этой случайности я обнаружил, что и в них нет необходимости — ибо свои открытия я делал не синтетическим,

а аналитическим путем — и с тех пор обходился без них, хотя большинство хозяек заверяло меня, что настоящий полезный хлеб без дрожжей не получается, а старики пророчили мне быстрый упадок сил. Я установил, однако, что дрожжи не являются главным ингредиентом: прожив без них год, я еще не отправился на тот свет и был рад избавиться от скучной необходимости таскать в кармане бутылку, которая иногда, к моему смущению, выталкивала пробку и содержимое. Обходиться без них проще и достойнее. Человек более всех животных способен применяться к самым различным климатам и обстоятельствам. Не клал я также в хлеб ни соли, ни соды, ни других кислот или щелочей. По-видимому, я пек его по рецепту, предложенному за два века до христианской эры Марком Порцием Катон[64] «Panem depsticum sic facito. Manus mortariumque bene lavato. Farinam in mortarium indito, aquae paulatim addito, subigitoque pulchre. Ubi bene subegeris. defingito, coquitoque sub testu». Это, насколько я понимаю, означает: «Пеки хлеб так: хорошенько вымой руки и квашню. Засыпь муку в квашню. Воду вливай постепенно и вымешивай тщательно. Когда вымесишь, придай хлебу форму и выпекай в закрытой посуде», то есть в кастрюле. О дрожжах тут не сказано ни слова. Однако я не все время имел эту «опору жизни». Однажды из-за пустоты моего кошелька мне не довелось есть ее более месяца.

Каждый житель Новой Англии легко мог бы сам выращивать свой хлеб в нашем краю ржи и кукурузы и не зависеть от отдаленных и изменчивых рынков. Но мы так отделились от простоты и независимости, что в Конкорде редко найдешь в лавке свежую кукурузную муку, а мамалыгу не употребляет почти никто. Обычно фермер отдает выращенные им злаки окоту и свиньям, а сам покупает в лавке пшеничную муку, более дорогую и уж во всяком случае не более полезную. Я увидел, что легко смогу вырастить нужные мне бушель или два ржи и кукурузы — первая родится даже на самой плохой земле, а вторая тоже не очень прихотлива, — смолотить их на ручной мельнице и обойтись без риса и свинины. А если нужен сахар, оказалось, что у меня получается отличная патока из тыквы или свеклы; чтобы добыть ее еще проще, мне надо было посадить несколько кленов, а пока они растут, употреблять в пищу другие сахаристые вещества, кроме названных. Ибо, как пели наши деды:

*Для сладкой настойки все в дело идет,
Щепа от ореха и тыквенный мед[65]*

Что касается соли, простейшего из бакалейных товаров, то она могла служить поводом для прогулки на морской берег, но можно обходиться и без нее — просто будешь меньше пить воды. Я не слыхал, чтобы индейцы давали себе труд ее добывать.

Так оказалось, что по части пищи я мог обойтись без всякой купли и мены; кров у меня уже был, оставались только одежда и топливо. Брюки, которые я сейчас ношу, были из домотканого сукна, — слава богу, что эта добродетель еще сохранилась, ибо превращение фермера в рабочего я считаю таким же великим и достопамятным падением, каким было грехопадение, превратившее человека в фермера. Топлива в такой новой стране, как наша, некуда девать. А что до права жительство, то если бы мне не разрешили жить и дальше на правах скваттера, я мог бы купить акр земли за ту же цену, по какой был продан обработанный мною участок, — то есть за восемь долларов восемь центов. Но я считал, что повышаю стоимость земли тем, что поселился на ней.

Есть скептики, которые иногда спрашивают меня, действительно ли я способен питаться одной растительной пищей. Чтобы сразу в корне пресечь расспросы, ибо в корне — вера, я обычно отвечаю, что могу питаться гвоздями. Если они этого не поймут, едва ли они поймут меня вообще. А я с удовольствием слышу о подобных опытах, например, о юноше, который пробовал в течение двух недель питаться сырыми початками кукурузы, перетирая их зубами. Беличье племя проделывает это с успехом. Такие эксперименты идут на пользу человеческому роду, хотя и тревожат некоторых старых баб, неспособных к ним из-за отсутствия зубов или владеющих контрольным пакетом акций в мукомольной промышленности.

Моя обстановка, которую я частично сделал сам и на которую не затратил ничего сверх сумм, указанных мною выше, состояла из кровати, стола, письменного стола, трех стульев, зеркала диаметром в три дюйма, щипцов, таганка, котелка, кастрюли, сковороды, черпака, таза, двух ножей и вилок, трех тарелок, одной кружки, одной ложки, кувшина для лампового масла, кувшина для патоки и лакированной лампы. Даже последнему из бедняков необязательно сидеть на тылке. Для этого надо быть уж совсем неумелым. Стулья, которые мне больше всего нравятся, можно найти на деревенских чердаках, и вам их охотно отдадут даром, только унесите. Мебель! Слава богу, я могу сидеть и стоять без помощи мебельного склада. Кто, кроме философа, способен сложить свою мебель на воз и перевозить ее, не стыдясь людских глаз и света небесного, — этокое убогое собрание пустых ящичков? А ведь такова мебель Сполдинга[66]. Глядя на груженные возы, я никогда не мог определить, кому они принадлежат — так называемому богачу или бедняку: их владелец всегда казался мне бедняком. Чем больше у нас всего этого, тем мы беднее. В каждом таком фургоне словно умещается содержимое целой дюжины лачуг; и если лачуга бедна, значит, тут бедности в 12 раз больше. Зачем мы *переезжаем*, как не для того, чтобы отделаться от нашей мебели, нашей старой, сброшенной кожи? — а там, смотришь, и перебраться в иной мир, обставленный заново, а все здешнее предать сожжению. Так и кажется, будто все эти пожитки прицеплены к человеку, и он, передвигаясь по нашей пересеченной местности, вынужден тащить за собой капкан. Счастлива лиса, оставившая в капкане свой хвост[67]. Мускусная крыса лишь бы освободиться, отгрызает себе лапу. Неудивительно, что человек утратил подвижность. Как часто он застревает в пути! «Простите, сэр, но что вы под этим подразумеваете?» Если вы проникательны, то при виде человека вы видите за его спиной также и все, чем он владеет, и даже многое, от чего он якобы отрекается, — все, вплоть до кухонной обстановки и прочего хлама, который он накопил и не хочет сжечь: он точно впряжен в этот воз и лишь с трудом может продвигаться. Я считаю, что человек застрял, когда он пролез в какой-нибудь лаз или ворота, куда он не может протащить свой фургон с мебелью. Я невольно испытываю сострадание, слыша, как здоровый, подвижной и, по-видимому, свободный человек беспокоится о своей «обстановке», застрахована ли она: «Что мне делать с моей обстановкой?» Это значит, что легкий мотылек запутался в паутине. Даже те, у кого как будто ничего нет, если приглядеться поближе, что-нибудь да хранят в чужом сарае. Англия наших дней представляется мне старым джентльменом, который путешествует с большим багажом, со всем хламом, накопившимся за долгое хозяйствование, и не решается его уничтожить: тут и сундук, и сундучок, и картонка, и узел. Бросил бы хоть первые три! Ни у одного здорового человека в наше время не хватит сил встать, взять постель свою и пойти[68]. А больному я уж, конечно, посоветую бросить свою постель и бежать. Встречая

иммигранта, согбенного под тяжестью узла, в котором находится все его имущество и который похож на гигантскую опухоль, выросшую у него на шее, я жалею его не потому, что тут все его достояние, а потому, что ему столько приходится тащить. Если мне суждено влачить свой капкан, я постараюсь, чтобы он был легким и не защемил важного для жизни органа. Самым мудрым было бы вероятно совсем не совать туда лапу.

Замечу, кстати, что я не расходовался на занавеси, ибо ко мне никто не заглядывал, кроме солнца и луны, а против них я ничего не имею. Луна не сквасит мне молоко[69] и не испортит мяса, солнце не повредит мебель и ковры, а если ласка его бывает иной раз чересчур горяча, я предпочту укрыться за каким-нибудь занавесом, созданным самой природой, но не обзаводиться лишней вещью. Одна дама предложила мне половик, но в доме не нашлось бы для него места, а у меня — времени, чтобы его выбивать, и я отклонил подарок, предпочитая вытирать ноги о дерн перед дверью. Зло лучше пресекать в самом начале.

Недавно я присутствовал на распродаже вещей одного диакона, преуспевшего в жизни:

Людей переживают их грехи [70]

Как водится, большая часть вещей была хламом, который начал накапливаться еще при жизни его отца. В числе других предметов оказался сушеный солитер. Пролежав полвека на чердаке и в чуланах, эти вещи не были сожжены; вместо очистительного *костра* для их уничтожения, устроили *аукцион*, что означает «увеличение». Соседи сбежались посмотреть их, скупили их и бережно перенесли на свои чердаки и в чуланы, чтобы хранить вплоть до собственной смерти, и тогда их снова извлекают. Много пыли подымает человек, когда умирает.

Нам следовало бы перенять обычаи некоторых первобытных народов, у которых существует церемония ежегодного обновления, то есть имеется хотя бы понятие о нем, если даже оно и не происходит в действительности. Хорошо бы и нам праздновать «праздник первых плодов», описанный Бартрамом[71] в числе обычаев индейцев Мукласси. «Для этого праздника, — говорит он, — все жители селения обзаводятся новой одеждой, новой посудой и другой домашней утварью, собирают сношенное платье и другие вещи, пришедшие в негодность; выметают весь сор из домов, с улиц и всего села и сгребают его, вместе с остатками зерна и других запасов, в одну большую кучу, которую поджигают. Затем они все принимают лекарственные снадобья и в течение трех дней постятся, а все огни должны быть погашены. Во время поста они соблюдают воздержание во всем. Объявляется также общая амнистия; все преступники могут вернуться в село.

На утро четвертого дня главный жрец возжигает на площади новый огонь, добывая его посредством трения сухих палочек одна о другую, и каждый очаг получает от него новое, чистое пламя».

Затем они вкушают от плодов нового урожая и в течение трех дней отмечают праздник пляской и пением, а потом «еще четыре дня пируют вместе с гостями из соседних селений, которые совершили такое же очищение».

У мексиканцев подобное очищение совершается каждые пятьдесят два года, ибо по их верованиям в эти сроки можно ждать конца света.

Мне едва ли приходилось слышать о более высоком таинстве, если таинство, по определению наших словарей, является «внешним и видимым проявлением духовной благодати», и я не сомневаюсь, что оно некогда было внушено индейцам небесами, хотя у них и не имеется Библии, где это откровение было бы записано.

Более пяти лет я всецело содержал себя трудом своих рук и установил, что, работая шесть недель в году, могу себя обеспечить. Вся зима и большая часть лета освобождалась для занятий. Пробовал я и преподавать в школе, но обнаружил, что тут затраты возрастают пропорционально, вернее, не пропорционально доходам, потому что я был вынужден определенным образом одеваться, подготавливаться и даже думать и верить, да к тому же терял время. Поскольку я брался учить не ради блага ближних, а только ради пропитания, я потерпел неудачу. Пробовал я и торговать, но установил, что тут требуется лет десять, чтобы пробить себе дорогу, но тогда уж это будет прямая дорога в ад. Я убоился, что к тому времени буду иметь так называемое доходное дело. Когда я подыскивал себе источник заработка — и при этом крепко задумывался, уже имея печальный опыт неудач, постигавших меня, когда я поступал по желанию друзей, — я часто всерьез подумывал заняться сбором черники; я знал, что сумею это делать и что мне хватит скромного дохода от нее, ибо самый большой мой талант, это — малые потребности; тут не нужно капитала и не придется, как я наивно думал, надолго отрываться от любимых мною занятий. Пока мои знакомцы, не раздумывая избирали торговлю или свободные профессии, я представлял себе свой промысел почти таким же: все лето проводить на холмах, собирая ягоды, а потом сбывать их без хлопот — и таким образом пасти стада Адмета[72]. Мечтал я также собирать лекарственные травы или продавать с воза вечнозеленые ветки тем из горожан, кто любит напоминание о лесах. Но с тех пор я узнал, что торговля налагает проклятие на все, к чему прикасается: хоть бы вы торговали посланиями с небес, над вами тяготеет то же проклятие.

Так как у меня были свои вкусы, и я более всего ценил свободу, так как я мог терпеть нужду и при этом чувствовать себя отлично, я не пожелал тратить время на то, чтобы заработать на богатые ковры или дорогую мебель, или тонкую кухню, или дом в греческом или готическом стиле. Кто способен приобрести все эти вещи, не отрываясь от дела, и умеет ими пользоваться, когда они приобретены, тем я и предоставляю эту заботу. Есть люди «трудолюбивые», по-видимому, любящие труд ради него самого, а, может быть, потому, что он не дает им впасть в худший соблазн, — этим мне сейчас нечего сказать. Тем, кто не знает, куда девать большой досуг, чем они имеют сейчас, я советую работать вдвое больше — пока они не выкупят себя на волю. Для себя я выяснил, что наибольшую независимость дает работа сельского поденщика, особенно потому, что там достаточно работать 30–40 дней в году, чтобы прокормиться. День у поденщика кончается с заходом солнца, и он тогда свободен для любимого дела и не связан со своей работой; зато его хозяин, постоянно занятый расчетами, не знает покоя круглый год.

Словом, убеждение и опыт говорят мне, что прокормиться на нашей земле — не мука, а приятное времяпрепровождение, если жить просто и мудро: недаром основные занятия первобытных народов превратились в развлечения цивилизованных. Человеку вовсе не

обязательно добывать свой хлеб в поте лица — разве только он потеет легче, чем я.

Один знакомый мне юноша, получивший в наследство несколько акров земли, сказал мне, что последовал бы моему примеру, *если бы имел средства*. Я ни в коем случае не хочу, чтобы кто-либо следовал моему примеру; во-первых, пока он этому научится, я, может быть, подыщу себе что-нибудь другое, а во-вторых, мне хотелось бы, чтобы на свете было как можно больше различных людей и чтобы каждый старался найти *свой собственный* путь и идти по нему, а не по пути отца, матери или соседа. Пусть юноша строит, сажает или ухаживает в море, пусть только ему не мешают делать то, что ему хотелось бы. Вся наша мудрость заключена в математической точке, подобно тому как моряк или беглый невольник отыскивают путь по Полярной звезде, но этого руководства нам достаточно на всю жизнь. Пускай мы не достигнем гавани в рассчитанное время, лишь бы не сбиться с верного курса.

В этом случае то, что истинно для одного, несомненно, остается тем более истинным для тысячи. Большой дом не стоит дороже маленького во столько же раз, во сколько он больше, — ведь все комнаты можно покрыть общей крышей, разделить общей стеной и подвести под них общий погреб. Я, однако, предпочитаю отдельное жилище. К тому же дешевле все выстроить самому, чем убедить другого в преимуществах общей стены. А если вы ее возвели, то она, экономии ради, должна быть тонкой, а сосед может оказаться плохим или не станет содержать ее в исправности. Обычно сотрудничество между людьми бывает лишь частичным и крайне поверхностным, а то подлинное содружество, какое изредка встречается, никому не заметно, ибо эта гармония не слышна людскому уху. Если у человека есть вера, он с той же верой будет сотрудничать со всеми, а если веры нет, то, он будет вести себя, как большинство, с кем бы вы его ни сочетали. Сотрудничать, в самом высоком и одновременно в самом низком смысле слова, значит вместе *зарабатывать на жизнь*. Недавно было предложено, чтобы двое молодых людей вместе путешествовали по свету, но чтобы один ехал без денег и зарабатывал их по пути, на море — матросом, а в поле — пахарем, а другой имел бы в кармане чек. Ясно, что им скоро будет не по пути, — какое уж тут сотрудничество, когда один из них вовсе не будет *трудиться*. Они расстанутся при первом же важном событии в их странствиях. Но главное, как я уже сказал, — тот, кто едет один, может выехать хоть сегодня, а тот, кто берет с собой спутника, должен ждать, пока он будет готов, и они еще очень не скоро пустятся в путь.

Все это, однако, чистейший эгоизм, говорят некоторые из моих соотечественников. Признаюсь, что я до сей поры очень мало занимался филантропией. Мне пришлось принести кое-какие жертвы моему чувству долга, пришлось, между прочим, пожертвовать и этим удовольствием. Некоторые люди всеми силами пытались убедить меня взять на иждивение каких-нибудь здешних бедняков; и если бы мне нечего было делать — а дьявол всегда находит работу для праздных рук — я мог бы занять себя таким образом. Однако, когда я попытался предпринять нечто подобное и выслужиться перед их Небесами, предложив неким беднякам то же содержание, какое имею я сам, и действительно сделал им такое предложение, — все они, не колеблясь, предпочли остаться в бедности. Раз уж мои земляки обоего пола всячески посвящают себя благу своего ближнего, я надеюсь, что хоть одному из нас дозволено заняться иными, менее гуманными делами. Для благотворительности, как и для всего другого, нужен талант. Желающих делать *добро* так много, что вакансий не остается. К тому же я честно пробовал свои силы на этом поприще и, как ни странно,

убедился, что оно не по мне. Едва ли мне следует сознательно отказаться от своего призвания, чтобы делать добро, предписываемое мне обществом, даже если бы от этого зависело спасение вселенной; думаю, что именно чье-то упорство, подобное моему, но несравненно большее, одно только и спасает ее до сих пор. Впрочем, я не хочу отговаривать тех, кто чувствует призвание именно к благотворительности; каждому, кто делает это отвергаемое мною дело и предан ему душой и сердцем, я говорю: продолжай, даже если свет назовет твое добро злом, что он, вероятно, и сделает.

Я далек от мысли, что представляю собой исключение; многие из моих читателей наверняка могли бы сказать о себе то же самое. Я уверен, — не ручаюсь, что это мнение разделяют мои соседи, — что меня стоило бы нанять в работники, а на какую работу — это пусть выясняет тот, кто меня наймет. Когда мне случается делать добро в общепринятом смысле слова, это должно быть в стороне от моей главной дороги и большей частью совершенно непреднамеренно. Нам обычно говорят: каков ты ни есть, немедленно, не думая о собственном совершенствовании, начинай творить добро ради добра. Если бы я взялся за подобную проповедь, я сказал бы иначе: начни с собственного совершенствования. Неужели солнце, разгоревшись до яркости луны или звезды шестой величины, должно этим удовольствоваться и бродить по свету, как Робин Добрый Малый[73] — заглядывать в окна, тревожить лунатиков, портить свежее мясо и светить лишь настолько, чтобы тьма делалась видимой, — когда оно может довести свое благодетельное сияние до такого накала, что глаза смертных не в силах будут его созерцать, и идти по своей орбите, чтобы приносить благо Земле, или, согласно более верному учению, чтобы Земля, обращаясь вокруг него, становилась лучше. Когда Фаэтон, желая доказать свое небесное рождение щедростью, получил на один день колесницу Солнца и свернул с торной дороги, он сжег несколько кварталов в нижнем Небесном Граде, опалил земную поверхность, иссушил все источники и образовал пустыню Сахару, но тут Юпитер поверг его на землю громовым ударом, а Солнце, печалась о нем, не светило после этого целый год.

Нет хуже зловония, чем от подпорченной доброты. Вот уж подлинно падаль, земная и небесная. Если мне станет наверняка известно, что ко мне направляется человек с сознательным намерением сделать мне добро, я кинусь спасаться от него, точно от иссушающего ветра африканских пустынь, именуемого самумом, который набивает тебе пылью рот, нос, уши и глаза, пока ты не задохнешься, — так я боюсь его добра, боюсь проникновения этого вируса в мою кровь. Нет, тогда уж лучше претерпеть положенное мне зло. Я не назову человека добрым за то, что он накормит меня, голодного, или согреет, озябшего, или вытащит из канавы, если мне доведется туда свалиться. Это может сделать и ньюфаундлендская собака. Филантропия — это не любовь к ближнему в широком смысле слова. Хауард[74] несомненно был в своем роде весьма добрым и достойным человеком и получил за то свою награду, но что для нас сотня Хауардов, если их благотворительность не помогает нам, в нашем относительно лучшем положении, когда мы больше всего заслуживаем помощи? Я еще не слышал о благотворительном собрании, где бы искренне предложили сделать добро мне или мне подобным.

Иезуиты оказывались бессильны перед индейцами, которые, горя на костре, сами подсказывали своим мучителям новые способы пытки. Возвысившись над физическим страданием, они иногда были недосыгаемы и для утешений, какие могли предложить им

миссионеры; правило: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними»[75] — не слишком убедительно звучало для тех, кому было безразлично, как с ними поступят, кто любил своих врагов на свой особый лад и был очень близок к тому, чтобы простить их.

Помогая бедным, предлагай им именно то, в чем они больше всего нуждаются, хотя бы это был собственный твой пример, до которого им далеко. Если даешь им деньги, отдавай и часть себя самого, а не просто бросай подачку. Мы иногда совершаем странные ошибки. Бедняк зачастую не столько голоден и холоден, сколько грязен, оборван и груб. Это не только его беда, но отчасти и его добрая воля. Дайте ему денег, и он купит на них еще лохмотьев. Я долго жалел неуклюжих ирландских рабочих, рубивших на пруду лед в такой рваной и убогой одежде, когда я дрожал в своем более опрятном и приличном костюме, пока однажды, в особенно холодный день, один из них не упал в воду и не зашел ко мне обогреться: он снял с себя три пары штанов и две пары чулок, правда рваных и грязных, и я увидел, что он не нуждается в дополнительной *верхней* одежде — столько у него было *нижней*. Купанье в пруду было именно то, что ему требовалось. Тут я начал жалеть себя и понял, что дать мне фланелевую рубашку было бы ближе к истинной филантропии, чем подарить ему целую лавку старьевщика! На один удар по истинным корням зла приходится тысяча охотников обрубить его ветви, и может статься, что тот, кто отдает беднякам больше всего времени и денег, всем своим образом жизни способствует увеличению нищеты, которую тщетно пытается облегчить. Это — благочестивый работоровец, жертвующий барыш с каждого десятого раба[76] на воскресный отдых остальным. Некоторые проявляют заботу о бедняках тем, что дают им работу на кухне. Не проявят ли они больше истинной доброты, если потрудятся там сами? Ты хвалишься, что тратишь на благотворительность десятую часть своих доходов, — не лучше ли отдать и остальные девять десятых и сразу покончить с этим делом? В данном случае обществу возвращается лишь десятая доля его имущества. Чем объяснить это — великодушием тех, кому она достается, или нерадивостью служителей правосудия?

Филантропия — почти единственная из добродетелей, достаточно ценимая людьми. Ее даже переоценивают, и виной тому — наш эгоизм. Однажды, в солнечный день, один бедняк здоровенный малый, хвалил мне некоего жителя Конкорда за доброту к беднякам — он разумел под ними себя. Добросердечные дядюшки и тетушки человечества ценятся выше его подлинных духовных отцов и матерей. Я слышал, как один препоподобный лектор, человек большой учености, говоривший об Англии, перечислил светил английской науки, литературы и политической жизни — Шекспира, Бэкона, Кромвеля, Мильтона, Ньютона и других — и тут же перешел к религиозным деятелям; как видно, полагая, что к этому обязывает его звание, он вознес их превыше всех других, как величайших из великих. Ими оказались Пенн,[77] Хауард и миссис Фрай[78]. Каждый почувствует здесь ложь и ханжество. Эти люди не принадлежали к числу лучших сынов и дочерей Англии, разве что к ее лучшим филантропам.

Я не хочу умалять заслуги филантропов, я лишь требую справедливости в отношении тех, кто благодетельствует человечество самой своей жизнью и трудом. Я не считаю праведность и доброту главным в человеке — это лишь его стебель и листья. Сушеные травы, из которых мы делаем лечебные настои для болящих, играют весьма скромную роль

и чаще всего их применяют знахари. Мне нужен от человека его цвет и плоды; мне нужно чувствовать его аромат, и общение с ним должно иметь приятный вкус спелого плода. Доброта его не должна быть частичным и преходящим актом, но непрерывным, переливающим через край изобилием, которое ничего ему не стоит и которого он даже не замечает. Такое милосердие искупает множество грехов. Филантроп слишком часто взирает на человечество сквозь дымку собственных прошлых скорбей и зовет это состраданием. Мы должны бы делиться с людьми мужеством, а не отчаянием, здоровьем и бодростью, а не болезнями, а их стараться не распространять. Из каких полуденных стран доносится к нам глас скорби? В каких широтах обитает язычник, которого мы хотим просветить? Где, собственно, тот темный и погрязший в пороках человек, которого мы хотим возродить к новой жизни? Стоит человеку чем-нибудь занемочь, так что дело у него не ладится, или просто у него заболел живот — ибо именно там зарождается сострадание — и он тотчас берется исправлять мир. Представляя собой микрокосм, он обнаруживает — и не ошибается, ибо кому же и знать, как не ему на собственном опыте? — что человечество объелось зелеными яблоками; вся наша планета кажется ему большим зеленым яблоком, и ему страшно помыслить, что дети человеческие могут вкусить сего незрелого плода. Он немедленно направляет свою неумолимую благотворительность на эскимосов и патагонцев, на многолюдные деревни Индии и Китая; и вот за несколько лет филантропической деятельности, которую правительство использует в своих собственных целях, он излечивается от своей диспепсии; земной шар слегка краснеет с одной или с обеих сторон, словно начиная созревать; жизнь уже не кажется кислой, и сладость ее ощущается снова. Я не представляю себе большей гнусности, чем та, какую я совершил. Я не встречал и никогда не встречу никого хуже себя.

Мне кажется, что душа филантропа — будь он самым праведным из сынов божьих — омрачена не столько состраданием к ближнему, сколько собственными бедами. Стоит им миновать, стоит прийти к нему весне и солнцу засиять над его изголовьем, и он без зазрения совести покинет своих великодушных соратников. Если я не читаю лекций о вреде табака, мое оправдание состоит в том, что я никогда его не жевал; пусть их читают, в виде искупления, раскаявшиеся потребители жевательного табака; хотя и я немало жевал такого, что следовало бы обличать в лекциях. Если вы дадите вовлечь себя в благотворительность, пусть левая рука ваша не знает, что делает правая, потому что этого не стоит и знать. Спасите утопающего и завяжите завязки своих башмаков. Не торопитесь и займитесь каким-нибудь свободным трудом.

Наши нравы пострадали от общения с праведниками. Наши сборники псалмов мелодично клянут бога, которого надо терпеть вечно[79]. Даже пророки и искупители чаще утешали человека в его скорбях, чем укрепляли в надежде. Нигде мы не находим простой, свободно изливающейся хвалы богу и благодарности за дар жизни. Всякое здоровье и всякий успех идет мне на благо, как бы он ни казался чужд и далек; все болезни и неудачи омрачают мою жизнь и идут мне во зло, как бы я ни сочувствовал им или они мне. Если мы действительно хотим возродить человечество индийским, ботаническим, магнетическим или естественным методом, надо прежде всего стать простыми и здоровыми, как сама Природа, разогнать тучи над собственной нашей головой и впустить немного жизни в наши поры. Не стремись быть надсмотрщиком над бедняками, постарайся лучше стать одним из достойных людей мира.

В «Гулистане, или Цветущем саду» шейха Саади из Шираза я прочел, как «одного мудреца спросили, почему из множества деревьев, которые всемогущий бог создал высокими и тенистыми, ни одно не зовется азад, то есть свободный, кроме кипариса, не приносящего плодов, — отчего бы это? Он ответил: у каждого дерева свои плоды и своя пора цвести и своя пора пожелтеть и засохнуть; один кипарис их не имеет, ибо всегда одинаково зелен, — таковы и азады, или люди свободной веры. Не прилепляйся сердцем к тому, что преходяще. Река Дижла, называемая также Тигром, будет протекать через Багдад и тогда, когда кончится династия калифов; если ты богат, будь щедр, подобно финиковой пальме; но если тебе нечего дать, будь азадом, или свободным, как кипарис».

Дополнительные стихи

Притязания бедности

“ Не много ли ты хочешь, бедный раб,
Всеобщего признанья ожидая,
Лишь потому, что в хижине убогой
Ленивое смирение взрастил
На солнце, точно овощ огородный;
Лишь потому, что собственной рукой
Ты истребил в душе живые страсти —
Те стебли, где все лучшее цветет;
Что в человеке ты сковал порывы
И плоть живую в камень обратил.
Такую добродетель мы отвергли.
Унылых постников не надо нам.
Или тупиц бесчувственных, бездушных.
Не знающих ни радости, ни скорби.
Терпенье мы не станем возносить
Над красотой деянья. Жалкая заслуга,
Лишь для рабов пригодная! Мы ж славим
Ту добродетель, что не знает меры.
Да здравствует безудержная смелость,
Могучий разум и великодушие,
И щедрость безграничная, и доблесть,
Которой древние названия не дали,
Но образцы оставили — Геракл,
Тезей и Ахиллес. Ступай в свою лачугу!
А если видишь новый, светлый путь,
Их благородного примера не забудь.

Т.Кэрю[80].